

Алексей Макушинский



Город в долине

роман



мастера
современной
русской
прозы

Мастера современной российской прозы

Алексей Макушинский

Город в долине

«ЭКСМО»

2016

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Макушинский А.

Город в долине / А. Макушинский — «Эксмо»,
2016 — (Мастера современной российской прозы)

ISBN 978-5-699-90733-5

Роман «Город в долине», писавшийся в течение 16 лет, является частью большой исторической трилогии, включающей в себя романы «Макс» и «Пароход в Аргентину». Это рассказ об истории и о стране — о стране погибшей и вновь народившейся, а также рассказ о человеке, глубоко одиноким и непонятым, одаренном и не сумевшем в полной мере воспользоваться своим Даром. Это роман о творце, так и не реализовавшем себя, принимающем на веру слова Леона Блуа, ставшие эпитафией его незаконченного романа: «Никто не знает, зачем он пришел в этот мир, чему соответствуют его поступки, его чувства, его мысли; кто более всего близок ему среди людей, а также каково его настоящее имя, его непреходящее Имя в списках света»... Содержит нецензурную брань!

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-90733-5

© Макушинский А., 2016
© Эксмо, 2016

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

54

Алексей Макушинский

Город в долине

Il n'y a pas un être humain capable de dire ce qu'il est, avec certitude. Nul ne sait ce qu'il est venu faire en ce monde, à quoi correspondent ses actes, ses sentiments, ses pensées; qui sont ses plus proches parmi tous les hommes, ni quel est son nom véritable, son impérissable Nom dans le registre de la Lumière¹.

Léon Bloy

1

Странное дело, мы так и не перешли с ним на «ты». Мы называли друг друга по фамилии (прямо как Станкевич с Грановским, заметил он как-то, прямо как Герцен с Тургеневым) и упорно, с первой, в мои девятнадцать лет, в его, кажется, двадцать один год, до последней, о которой – когда-нибудь, встречи, обращались на «вы» друг к другу: вы, Двигубский, вы, Макушинский. Это выканье, в его двадцать один год, в мои девятнадцать, было, конечно, игрою – и, конечно, формой протеста против пролетарского панибратства, со всех сторон окружавшего нас. По фамилии же потому, наверное, называли друг друга, что слышалось – нам обоим, не нам одним, может быть, – некое созвучие в этих фамилиях: обе на -ский, обе довольно редкие; моя, впрочем, тягучий анапест, его – решительный ямб, лишь притворяющийся (как, в свою очередь, сказал я ему однажды, зимней ночью, тридцать лет тому назад) амфибрахийем. Ночью, кстати, и познакомились мы, раннезимней ночью, в ноябре 1979 года. Было некое место возле Чистых прудов, называемое чердак – огромная, в несколько путаных помещений, безнадежно-пыльная мастерская одного, как и все они, бородатого, насквозь прокуренного художника, пару лет спустя уехавшего в Израиль – или двух художников? – все двоится теперь, как ни всматриваюсь, – где чуть ли не каждый вечер собиралась большая и разношерстная, полудиссидентская, полусветская – одно в ту пору сливалось с другим – компания, покуда, годом позже, после обыска, произведенного там гэбухой, чердак этот не оказался вдруг запертым на амбарный замок, навсегда. Знакомство же наше произошло вот как. Я стоял, хорошо это помню, на углу возле театра «Современник», ожидая мою тогдашнюю кратковременную, так скажем, подругу, с тех пор тоже давным-давно затерявшуюся в пространстве (пространстве, по некоторым сведениям, американском), блондинку Женю, как все называли ее, чтобы отличить от какой-то брюнетки Жени, которую уже никак не могу теперь вспомнить; с этой Женей-блондинкой договорились мы встретиться, чтобы вместе пойти на чердак, где я еще не бывал, где бывала она постоянно. В ту пору в моде были брезентовые сумки на длинных лямках, военно-противогазного вида (эпоха разноцветных рюкзаков еще, конечно, не наступила); в сумке же лежало у меня что-то остро-нелегальное, Архипелаг, Авторханов... (я, разумеется, никогда не рискнул бы достать из сумки такое на улице или в метро; шик был в том, что – вот, сидишь в вагоне или едешь по эскалатору, и никто ничего не знает, и мент у турникета глядит на тебя невидящими глазами, а в сумке-то, в сумке-то у тебя...; мне, повторяю, всего девятнадцать лет было в ту мифологическую эпоху). Еще помню, что в моде, впрочем, недолго, были тогда мундштуки, причем дешевые, псевдоянтарные, за тридцать, что ли, копеек продававшиеся в любом табачном ларьке; сига-

¹ «Никто не может сказать с уверенностью, кто он такой. Никто не знает, зачем он пришел в этот мир, чему соответствуют его поступки, его чувства, его мысли; кто более всего близок ему среди людей, а также каково его настоящее имя, его непреходящее Имя в списках света». Леон Блуа.

рету полагалось вставлять в такой мундштук целиком, не отрывая фильтра (заботясь будто бы о здоровье...); в узком стволе его образовывалась постепенно черная дрянь, которую извлекали оттуда тонкой проволокой, замотанной в вату; с кретинической сосредоточенностью чистить мундштук на лекции было, конечно, невинной отрадой студента. Вижу себя довольно отчетливо, с этой брезентовой сумкой и тридцати-, тоже, копеечной «Явой», забитой в мундштук, в перешитой на меня отцовской тяжелой дубленке, топчущимся в снегу, глядящим на кружение снежинок под фонарем; еще отчетливее вижу его, появляющимся из прозрачной мглы переулка. На нем были бежевое английское пальто с большими костяными застежками (не пуговицы, но рожки, продававшиеся в кожаные петли; такие пальто видел я в «Березке» на, кажется, Профсоюзной...), уже, в сущности, не соответствовавшее сезону; длинный, тоже как бы английский, серо-бурый шарф, высоко замотанный вокруг шеи, так что, когда он заговорил со мною, ближайший к подбородку завой заколебался от его слов; и каких-то неправдоподобных размеров, ярко-рыжие, на меху, рукавицы, на которые он, казалось, и возлагал все свои надежды в борьбе с морозом, время от времени с глухим хлопком ударяя в ладоши. Вы, наверное, Алексей? Меня послала Женя вас встретить. – А вы? – Двигубский, Павел, сказал он, обнажая ямбическую природу своего имени и какие-то преувеличенно-правильные, навязчиво-сияющие зубы в снисходительно-победительной, вызывающе неискренней, а потому и наглой улыбке. Идемте, холодно... Все это очень не понравилось мне, но я, конечно, пошел.

2

Он был выше меня ростом (а я к этому относился тогда ревниво). Был высок, худ и нескладен. Шагая, махал руками – и взад-вперед, и вкривь-вкось, как если бы они плохо были привинчены к узким его плечам, да и в локтях, похоже, с шарнирами не все у него заладилось. Был при всем том откровенно, даже как-то (решил я) неприлично красив; носил в то время роскошную, чуть-чуть выющуюся, темно-русую, *рудинскую*, как мы потом прозвали ее, шевелюру, в ту зимнюю ночь не прикрытую шапкой и великолепно контрастировавшую с его очень черными, густыми бровями. Эти брови, до самого конца не утратившие своей красоты и полета, были как бы особым его клеймом, личным знаком, внятным и памятным всякому, кто хоть раз внимательно на него посмотрел; у переносицы сросшиеся, на пути к вискам набравшие силу и густоту, затем утончавшиеся, но отнюдь не редевшие, как будто проведенные уверенным карандашом, ярко-черные по-прежнему, внезапно, у висков, обрывавшиеся, они образовывали одну из тех совершенных линий, какие встречаем мы в природе нечеловеческой, о человеке не думающей, не знающей, в изгибе случайной ветки под фонарем, зимней ночью, в ласточкиных росчерках на грозном закате, под эльгрековским небом, во взмахе крыльев кружащейся над заливом, над дюнами и над берегом чайки – за которой мы следим точно так же, как я следил в тот вечер, в ту ночь за взмахами этих бровей, вновь и вновь взлетающих над его какими-то, показалось мне, дымчатыми, дымчато-карими и тоже чуть вытянутыми, как на египетских фресках, глазами. Мы свернули сначала в одну арку, затем в другую, затем еще в какую-то третью, прошли сквозь затхлый подъезд с полуломаными и ржавыми почтовыми ящиками, поднялись на дергающемся лифте на последний этаж и затем на чердак по загибающейся за лифтовую шахту лестнице – и долго шли потом по этому чердаку, едва освещенному одной-единственной, уже далеко позади, у самого входа, оставшейся лампочкой, по длинным очень скрипучим доскам, переброшенным, как гать через болото, через гулкую его темноту, покуда не добрались наконец до обитаемой части этого чердака, отделенной от внешнего враждебного мира классической советской дверью, с ключьями грязной ваты, выбивавшейся из-под рыжей обивки; за дверью был свет, голоса, табачный дым, треньк гитары.

3

Фамилия же Двигубский, по невежеству моему, ничего мне в ту пору не говорила – но все же смутно напонила что-то; через сколько-то дней после знакомства с П. Д., ведомый этими смутными воспоминаниями, я отыскал на полке, между собранием сочинений Мережковского и четырехтомным Алексеем Константиновичем Толстым, тонюсенькую, очень пожелтевшую, очень ветхую книжечку, в мягкой, с разводами и кружками, бумажной, наивно подражающей коже какого-то неведомого зверя, обложке, с детства мне знакомую и до сих пор у меня сохранившуюся, вот она, озаглавленная: «Таинственное предсказание, или Карточный Солитер». Под заглавием – виньетка, изображающая полуобнаженную, мощнорукую арфистку, парящую в облаках, с развевающимися, как ткань, волосами и такой же тканью развевающегося, но в другую сторону, так что не совсем понятно, откуда дует ветер, хитона; под виньеткой – выходные данные: «Москва. В университетской Типографии. 1833». На оборотной стороне титульного листа значится: «Печатать позволено. Москва, Января 7-го дня 1833 года. Цензор, Заслуженный Профессор, Статский Советник и Кавалер Иван Двигубский». 7 января 1833 года барон Е. Ф. Розен сообщал С. П. Шевыреву о Пушкине: «Он решительно ничего не пишет, осведомляясь только о том, что пишут другие». Откуда была у нас дома эта книжка, я не знал и не знаю; я, конечно, взял ее с собою, когда в следующий раз отправился с уже упомянутой Женей *на чердак*, где П. Д. поначалу не было; а кто, собственно, был? Было несколько художников и художниц, молодых и совсем молодых, появлявшихся там постоянно, иногда рисовавших что-нибудь вместе с хозяином (может быть, учившихся у него? я не знаю опять-таки, знаю только, что нового человека усаживали рано или поздно в тухлявое, валкое кресло и рисовали его с разных сторон; усадили в конце концов и меня, с томом Томаса Манна, вот это я почему-то запомнил, в руках; усаживали, наверное, и Двигубского; где теперь эти рисунки?); были, как они всегда и везде бывают, просто девушки, без дальнейших свойств и характеристик; была умопомрачительная особа по кличке Люда-холера, сквозь приступы кашля и брызги мокроты сообщавшая всем встречным и поперечным, что она вчера весь вечер блевала, всю квартиру, бля, заблевала, а сегодня у нее началась менструация, так что вы к ней лучше не подходите; была, наоборот, тонюсенькая, вся изломанная и манерная девушка, прозывавшаяся Спичкой, всякий раз, когда кто-нибудь заговаривал с ней, смотревшая на непрошеного собеседника с удивленным упреком, как не стыдно, мол, приставать ко мне с пустяками, затем впадавшая вдруг в истерическую веселость, затем опять умолкавшая, как будто все прислушиваясь к чему-то; была православная фракция, любившая, понятное дело, поговорить о таинстве причастия, о поездке в какую-то пустыньку, об отце Александре Мене; были дети диссидентов, опаленные героическим пламенем; был сын знаменитого дирижера, мрачный малый, налегавший в основном на коньяк, неизменно приносимый им с собою в армейской фляжке с красной звездой на крышке, изредка угощавший им кого-нибудь из своей свиты; были фарцовщики, непонятно как и зачем оказавшиеся здесь; был добрейший, толстейший, уже, по нашим тогдашним понятиям, немолодой, то есть, *entendons-nous*, тридцатилетний, трогательно местечкового вида и облика, с рыжей бородищей, врач Лёня, тоже непонятно как здесь оказавшийся, впоследствии, и еще много лет спустя, и наверное до сих пор помогавший и помогающий всем своим друзьям, знакомым, полужнакомым в их разнообразных невзгодах, болезнях и трудностях. Книжка, мной принесенная, имела успех; передавая ее из рук в руки, читали мы, например, что гадать надо так: «Возьмите из колоды карт – 32 карты, то есть от туза до семерки, каждой масти, перемешайте хорошенько, задумайте и выдерните три раза по одной карте, потом смотрите каждой значение». Значение вот, к примеру, такое: «СЕМЕРКА ЧЕРВОННАЯ. Прелестная девушка белокурая с голубыми глазами, пылкого

ума, окажет вам величайшую услугу, не предупредив вас о том. Она чрез вас познакомится с одним черноволосым, за которого потом выйдет замуж, и в двух этих молодых супругах вы найдете для себя лучших друзей, никого, кроме их, посещать не будете; можно сказать, что в кругу этих друзей вы обретете все наслаждения безмятежной старости». Или: «ДАМА БУБНОВАЯ. Сия карта предупреждает вас быть осторожным: одна женщина, сплетница, болтуня и притом очень любопытная, поссорит вас с людьми, которых вы наиболее уважаете; но возбужденное ею о вас невыгодное мнение опровергнет хорошее ваше поведение и отмстит клевете, за которую останется ей презрение, а вам уважение. Где властвует злоречие и первенствуют интриги, там надобно избегать мести! И если вы не последуете сему совету, то совершенно потеряетесь. Все дурное, что сделает вам сия злая женщина, послужит уроком впредь быть осторожнее». Как ни стараюсь теперь найти здесь предзнаменование, знак и отзвук моей ли собственной, Двигубского ли судьбы, не нахожу, разумеется, ничего, ни знака, ни отзвука. Между тем, он появился; каково быть потомком цензора, спросил его кто-то. Брови его взлетели; улыбнувшись, на сей раз, какой-то тихой, как бы внутрь обращенной улыбкой, ответил он, что Иван Алексеевич Двигубский, а это именно он, кто же еще? был цензором лишь, как теперь сказали бы, по совместительству, а был, вообще, человек замечательный, ученый-ботаник, ректор, между прочим, Московского университета, автор первого описания всей подмосковной флоры и фауны. Он, Павел Двигубский, уже давно собирает сведения о нем; в «Русском биографическом словаре» Половцова, том шестой, страница не помню какая, есть о нем большая статья, где приводятся, в частности, названия многочисленных его трудов, среди коих, то есть именно названий, есть замечательные, он, Павел, помнит некоторые из них наизусть, как, например, «Краткое описание всех животных четвероногих и китов, которые водятся в пределах российского государства, с показанием мест, где именно они водятся», 1816 года, или, не менее, согласитесь, прекрасное, «Изображение растений, преимущественно российских, употребляемых в лекарстве, и таких, которые наружным видом с ними сходны и часто за них принимаются, но лекарственных сил не имеют», в трех, между прочим, частях, издававшихся с 1821 по 1831 год. Все это он проговорил медленно, тихо и с расстановкой, явно наслаждаясь и самими названиями, и произведенным эффектом. Нет, он вовсе не потомок профессора Ивана Двигубского, увы; впрочем, если верить семейным преданиям, он все же находится с ним в отдаленном для него, Павла Двигубского, бесконечно отрадном и почетном родстве. Цензорами же в российском государстве были, как известно, многие достойнейшие люди, четвероногие и киты, как, например, Александр Васильевич Никитенко, автор знаменитого дневника, каковое цензорство не помешало Некрасову и Панаеву пригласить его в соредакторы «Современника»; цензором, по возвращении из Мюнхена, был, между прочим, и Тютчев, даже старшим цензором, если память не изменяет ему, отвечавшим, впрочем, только за иностранную литературу, пропускаемую или не пропускаемую в российское государство министерством иностранных дел, где и служил он; цензором, наконец, уже в более либеральные пореформенные времена, был, кстати, и Гончаров, причем он, Двигубский, отнюдь не уверен, что эта служебная деятельность великого романиста, так он выразился, уже явно играя и переигрывая, начавшаяся в 1856 году, когда реформы еще только намечались на горизонте нашей общественной жизни, имеет к ним, реформам, сколько-нибудь значительное отношение, то есть, по его, Двигубского, убеждению, он, Иван Александрович, видел в своей цензурной деятельности, как и все они, просто службу и без всякого сомнения поступил бы в оную, даже если бы никаких реформ на горизонте и не намечалось, хотя, с другой стороны, нельзя отрицать, что именно благодаря Гончарову были опубликованы... Он, кажется, собирается прочесть нам лекцию, заметил кто-то. Историк, бля, с отвращением проговорила Люда-холера. У историка были длинные гибкие пальцы музыканта, хотя, как я вскорости выяснил, ни на каком музыкальном инструменте он не играл; перелистывая принесенную мною книжку, прочитал он своим

низким, с хрипотцой, голосом: «ДЕВЯТКА БУБНОВАЯ. Дела ваши хотя идут медленно, но от сего не может быть расстройства в успехе. В уме вашем составлен план, отменно выгодный вашей будущей пользе; хотя завистники и могут испортить его, но деятельность ваша все превозможет, и вы достигнете до цели, предпринятой вами – к удивлению всех вас знающих, и посторонних лиц – не оставляйте счастливой вашей мысли, и ни под каким видом не слушайте тех, которые пожелают отвлечь вас от оной, – помните, что от исполнения зависит счастье всей будущности вашей, и будьте тверды».

4

Среди моих знакомых, кажется, и не было никаких в ту пору историков; Двигубский, следовательно, был первым. Все вокруг учились на филологическом факультете. Кто не учился на нем, тот был художник, или музыкант, или, наоборот, физик, математик, биолог. Когда я узнал, что он учится на историческом факультете университета, и не только учится, но уже заканчивает его, уже, как он выразился, готовит дипломную работу, еще колеблясь, впрочем, в выборе темы, я тут же вспомнил, я помню, что в шестом, в седьмом, даже еще в восьмом классе школы на глупейший вопрос так называемых взрослых, кем я хочу быть, отмахиваясь от этого вопроса и, значит, втайне уже тогда понимая, хотя еще не в состоянии, конечно, сформулировать эту простую мысль, что быть кем-то – вообще невозможно, что бытие не терпит определений, все-таки, отмахиваясь от вопроса, но и не совсем не всерьез, отвечал, что – историком, к девятому же классу сообразил, что Софья Власьева, как мы тогда говорили, считает историю, причем любую историю, и ацтеков, и ассирийцев, естественной своей прерогативой, неотчуждаемой своей вотчиной и что, следовательно, если я не хочу задохнуться в ароматах диамата, испареньях истмата, лучше мне, наверное, историком не становиться. Это не совсем так, сказал мне Двигубский; здесь, как и везде, идет своя подземная, подрывная работа... Мы вышли вместе с ним, с Женей, еще с кем-то, к Чистым прудам; известно ли нам, спросил он, что пруды эти до восемнадцатого века назывались Поганою лужею? – общий смех был ему, конечно, ответом. В ту раннюю пору, казалось мне, он чуть-чуть выделялся и задавался, сообщая не всегда доброжелательным к нему окружающим подобные сведения; впоследствии – никогда. Чистые пруды потому назывались Погаными, или Поганою лужею, что в них сбрасывали отходы скотобоен и мясных лавок, коих в этой части Москвы было множество, чему свидетельством осталось, понятное дело, название Мясницкая улица, улица, переименованная совдепами, с привычным презрением подчеркнул он это словечко, сначала в какую-то Первомайскую, затем, после убийства одного, в улицу Кирова, и с тех пор, добавим мы от себя, но этого, конечно, ни он и никто из нас еще не знал в ту зимнюю ночь, превратившаяся снова в Мясницкую. Вся эта часть города называлась Мясниками, или еще – Мясницкою полусотней; можно представить себе, какие здесь были благоуханья. Поганные же пруды (ровной конькобежной гладью лежавшие перед нами...) превратились в Чистые после того, как их – очистили, вот как все просто, очистили же их по распоряжению не кого-нибудь, а – кого же? – а герцога Ижорского, вот кого, герцога Ижорского? именно, герцога Ижорского, более известного вам, друзья мои, вставил он с каренинской интонацией насмешки над тем, кто в самом деле стал бы так говорить... более, друзья мои, известного вам под именем Александра Даниловича Меншикова, поскольку Александр Данилович Меншиков, полудержавный наш властелин и счастья баловень безродный, владел здесь имением и не только очистил пруды, но и построил Меншикову башню, иначе говоря, вон ту церковь в Архангельском переулке, коей купол мы могли бы – он взмахнул своей плохо привинченной рукою – увидеть отсюда, если бы не эта темнота, эти тусклые фонари, этот серый фон жизни... возвратимся к прудам. Из прудов, вот на что хочу я обратить просвещенное внимание ваше, вытекала некогда речка Рачка, потому,

надо думать, так называвшаяся, что в ней водились особенно крупные и вкусные раки, отходами скотобоен, надо полагать, и питавшиеся; речку эту еще в восемнадцатом веке заключили в трубу, подобно многим другим московским ручьям и речкам, в разные исторические эпохи потерявшим, как и все мы, свободу, из каковых речек упомянуть следует не только знаменитую Неглинную, но и речки с такими, например, замечательными названиями, как Жабенка, Лихоборка, Жуза, Хапиловка, Таракановка и Ходынка. Вообще удивительно, как обращаются с водой в Москве и как в Питере. В Москве воду уничтожают, загоняют в трубы и прячут под землю. В Петербурге с самого основания города роют каналы, хотя воды там и так предостаточно. Чему примером служить могут, он подчеркнул опять-таки голосом это служить могут, входя, очевидно, в роль какого-нибудь старика-бригадира из забытой какой-нибудь пьесы, чему примером, государи мои, служить могут Кронверкский канал и Крюков, канавка Зимняя и Лебяжья, прорытые еще при жизни отца нашего Петра Алексеевича, а также Екатерининский канал и Обводный, прорытые при матушке-императрице. Шедшая нам навстречу компания горластой шпаны посмотрела на нас, как будто прицениваясь, задрать или нет; прошла, к счастью, мимо. Бульвар был пуст, снег скрипел под ногами, редкие такси уезжали в никуда за деревьями. Вот разница между городом водным, морским, открытым миру и ветру, и городом сухопутным, континентальным, повернутым к Азии, мечтающим о степях, солончаках и пустынях. А между тем, ведь именно рекам обязана Москва своим возвышением, поскольку, как нам всем, конечно, известно (никому из нас, по советскому невежеству нашему, известно это в ту пору не было...), Москва-река благодаря своим притокам соединяет бассейн Волги с бассейном Оки, то есть, по сути дела, северную Русь с южной, а Яуза, с другой стороны, подходит совсем близко к Клязьме, соединяющей Запад с Востоком, так что есть, если вдуматься, что-то парадоксальное в этом отрицании городом своей изначальной, речной и водной, природы; Москве, впрочем, и в отличие, опять же, от Петербурга, отрицание своей природы свойственно и в других отношениях, отчего она все время изменяется, уничтожая себя саму, Петербург же неизменен, при всей молодости своей как бы вечен, так что даже большевики ничего не смогли с ним поделать.

5

Было, было что-то показное и отчасти назойливое в подобных его рассуждениях, рассуждениях, которыми он, П. Д., пытался как будто – и с немалым, надо сказать, успехом – привлечь к себе внимание публики и вместе с тем, или так мне казалось, отвлечь его, это постороннее и чужое внимание, от чего-то в себе, что он прятал, от какой-то своей тайной мысли или тайной печали. Вдруг, бывало, вызов в нем чувствовался; той наглой, преувеличенно белозубой улыбкой, которую он продемонстрировал мне при первом нашем знакомстве, улыбался он почти всякому новому человеку, словно стремясь сразу же поставить этого нового на причитающееся ему место; улыбался так и просто разговаривая с людьми, почему-либо ему неприятными. Вышеупомянутого, налегавшего на коньяк, дирижерского сына, именем, вот не могу теперь вспомнить, то ли Эдик, то ли, может быть, Рафик, пару раз на моих глазах принимался задираť он, что было, вообще, небезопасно, но ему, Двигубскому, почему-то сходило с рук; тот отшучивался как мог, к удивлению своей свиты, но в драку не лез и даже матом почти не ругался. Сам Двигубский не матерился на моей памяти никогда; пил очень мало, не допьяна, как пили, увы, другие; курил, но мог обойтись и без курева; опытов с наркотиками не делал, эфедрин не глотал и *косяк с травкой*, протянутый ему кем-нибудь, передавал сразу дальше. Возможно, он *перебесился* уже ко времени моего с ним знакомства, как и сам я, в ту зиму 79/80-го года еще пускавшийся во все тяжкие, попадавший в такие места, в таком обществе, о каком и каких не могу теперь думать без отвращения, на самом деле, еще не зная этого, *беситься* уже заканчивал и к лету, тем более к осени 80-

го бесповоротно закончил; я, во всяком случае, этой разгульной фазы его жизни, если она у него вообще была, как бывает почти у всех, не застал. Поражало его одиночество. Все вокруг сходились и расходились; романы завязывались; романы развязывались; от мечтательной влюбленности и робких рукопожатий до группенсекса в чьей-то грязной квартире, среди пустых бутылок и оплывающих под утро свечей, расставленных на полу, было всё; один Двигубский ни в чем не участвовал. Был ли он уже мужчиной в то время? Подозреваю, что все еще нет, а спросить теперь не у кого, да я и не решился бы, разумеется, задать ему такой вопрос, ни тогда, ни впоследствии. Вижу его отсутствующим, смотрящим в свою какую-то сторону; пару раз, смешно вспомнить, устраивали мы спиритические сеансы, тоже, разумеется, ночью, однажды, уже весной того (все того же) 80-го года, почему-то у меня дома, на узкой кухне, где каким-то образом мы все поместились; затеял все это некий Ика, так его называли, один из завсегдатаев *чердака*, арапообразный, обезьянорукий молодой человек, с поражавшей меня скоростью, легкостью писавший, по большей части – гуашью, портреты, или точнее – просто лица, поскольку портретного сходства ни с кем в них не замечалось и модели отсутствовали, на модильяниевский манер удлинённые, узкие, почти одинаковые, по несколько штук в день; был приглашенный мною в тот вечер, к *чердаку* и чердачной компании никакого отношения не имевший, Ф. Е.Б. (друзьями и полудрузьями за глаза прозываемый Фебом), дорогой друг мой, умнейший и лучший, вообще говоря, из людей, к моему не тогдашнему, тогда я это принял как должное, но к теперешнему моему удивлению пожертвовавший сном ради сего сомнительного эксперимента, что, в мои к тому времени уже двадцать лет, и даже в двигубские двадцать два, еще как бы само собой разумелось, в его же, Феба, тридцать три было уже, по крайней мере на мой сегодняшний взгляд, эскападой, на которую сам я впоследствии, в свои собственные тридцать три года, к примеру, вряд ли бы согласился. Я только не знаю, не грех ли это, проговорил Ф. Е.Б., раскуривая трубку и глядя, как Ика склеивает большие листы бумаги и, очень ловко, быстро, прищурившись, рисует на них совершенно правильный, нигде не прогибающийся и никуда не выпирающий круг. Анна Федоровна Тютчева в знаменитом своем дневнике утверждает, что – грех, ответил на это Двигубский, что это бесы шутят и черти насмеются над человеком. Она же, Анна Федоровна, описывает в дневнике своем несколько спиритических сеансов, причем сеансов при дворе, в присутствии и с непосредственным участием и самих царствующих особ, и других членов императорского дома, спиритизму предававшихся, очевидно, со страстью, каковая страсть охватила, если верить дочери *любимого нашего поэта* (Феб слушал все это улыбаясь, приглядываясь к оратору, попыхивая своей трубкой), и самого Александра Второго, причем в то именно время, когда в России готовились, и Россия готовилась, к великим реформам, так что невольно спрашиваешь себя, что, собственно, было важнее для государя, освобождение крестьян или все же столовращение, в самом деле, если верить рассказам, протекавшее при дворе весьма бурно и, следовательно, на свой лад убедительно. У них был, значит, настоящий медиум, сказал Ика. Разумеется. Это был знаменитый в ту пору американец, точнее англичанин, еще точнее шотландец, но выросший в Америке, Юм, как называли его на французский манер, а правильно было бы – Хьюм, хотя пишется – Хоум, гастролировавший по европейским дворам и столицам, собственно – главный спирит эпохи, впоследствии, между прочим, учитель Блаватской, двоюродной, кстати, сестры (известно ли это собравшимся?) графа Сергея Юльевича Витте, предпоследнего, так сказать, из великих государственных мужей многострадального отечества нашего. Этот Юм творил, в самом деле, вещи невероятные, предметы летали у него по комнате во время сеанса, незримая рука хватала, трясла, иногда щипала присутствующих, музыкальные инструменты играли сами собою, ледяной сквозняк пробежал по щекам и душам. Он и сам обладал способностью левитации, на знаменитом сеансе 1868 года, проходившем, кажется, в Лондоне, поднялся в воздух, потом опустился, потом вышел в другое помещение и вдруг появился в окне той комнаты на третьем этаже,

где сидели потрясенные свидетели происходящего, затем открыл окно снаружи, влетел в комнату и уселся на прежнее место. Вот здорово было бы, сказала, вот вспомнил, что она была при этом, вышеупомянутая нервная Спичка, вот бы увидеть такое. Все это, возможно, фокусы, сказал я. Возможно, ответил Двигубский, но замечательно, что никто разоблачить его не сумел. Впрочем, пишет Анна Федоровна, даже если это и вправду духи являются нам, то это духи лжи, пустые, лукавые и тщеславные, отвлекающие нас от Бога, а потому иметь с ними дело есть грех и безумие. Духи, между прочим, таковое отношение к себе славнофильствующей фрейлины, по-видимому, чувствовали, почему нередко и прогоняли ее из комнаты, где проходили сеансы. Ну, а вы-то сами, перебил его, улыбаясь, впрочем, по-прежнему, Ф. Е.Б., не любивший вообще околичностей и *отражений*, вы-то сами что думаете об этом? Я еще не знаю, ответил Двигубский, я потому здесь, может быть, и нахожусь, чтобы составить себе мнение о сем любопытном предмете. Все эти истории меркнут, впрочем, перед историей некоей госпожи Анненковой, которой в трансе являлась Мария-Антуанетта... Рассказать историю госпожи Анненковой Двигубскому в тот вечер не удалось; Ика потребовал, наконец, внимания к духам; а то ведь они могут обидеться и вообще не прийти. Все это были детские глупости, разумеется; трудно было сохранять серьезность; с напыженными от проглоченного смеха лицами сидели мы, положив кончики пальцев на блюдце с красной меткой, никак не желавшее завертеться; наконец рассмеялись, сначала Двигубский, вслед за ним Спичка; перестали смеяться, почувствовав легкий толчок (произведенный, показалось мне, Икой); блюдце дернулось – и забегало вдруг по кругу, от одной буквы к другой, очень быстро; на Икин вопрос: кто ты? ответило: Мария-Антуанетта; затем остановилось; затем опять забегало; написало: нет, неправда, я Тютчев; и повторило: я Тютчев, я Тютчев. Вот с Тютчевым, сказал Феб, я бы поговорил. Тогда спросите его о чем-нибудь, сказал Ика. Но Тютчева уже не было, была какая-то чепуха и абракадабра, буквы и буквы, не собиравшиеся в слова; наконец, после нескольких неудачных попыток и многих выкуренных сигарет, прорезалось что-то более осмысленное; блюдце написало: я здесь; на вопрос: кто? ответило: не скажу; на просьбу позвать Тютчева написало, что Тютчев занят; покружившись, добавило: ужинает; затем: я – герцог Ангулемский, брат Александра Второго; снова остановилось; дернулось; написало: Дашины письма; помедлило; написало: пропали; снова дернулось; написало: во время гражданской войны. Спросите, спросите у него что-нибудь, шептал Ика, округляя глаза. Стыдно вспомнить теперь, я, мне ведь только исполнилось двадцать, не нашел ничего лучшего, чем спросить его о *смысле жизни*... Каждому – свое, ответило блюдце; затем, медленно и без всяких толчков перемещаясь от буквы к букве, написало: все вы – как листья одного дерева; снова остановилось. Затем опять пошла чепуха; на спичкин вопрос, кто в нее влюблен, ответ был: творожная масса. Между тем Двигубский все больше и больше отстранялся от происходящего, замыкался в себе; пальцы клал на блюдце все реже; наконец, совсем убрал руку. Мы смеялись еще, после *творожной массы* особенно; уже, впрочем, предутренним, усталым и неискренним смехом; его же всякая веселость покинула; или что-то насторожило, испугнуло. За окном, у которого, если память не изменяет мне, простоял он последний остаток ночи, с трудом, сквозь серые сумерки, проступали те призрачные громады, от которых я всю жизнь бежал, в конце концов убежал; с трудом, в серых сумерках и всегдашнем вавилонском молчании, намечались пятиконечные звезды, серпы и молоты, венки из каменных колосьев, из колосьев же гигантские вазы, усеченные обелиски, настоящие облака.

6

Печаль, как известно, имеет свойство превращаться в тоску, тоска в отчаяние. Осенью 1980 года тоска отхватила меня самого такая, что, выговорив себе в институте, где учился,

так называемый академический отпуск, я прожил зиму, повернувшись лицом к стене, буквально и фигурально, никого не желая видеть, пытаюсь только понять, как жить дальше, как вообще можно жить, ничего, конечно же, не поняв, отрываясь иногда от стены, подходя к окну, в котором каменные громады и детали сталинского барокко, эти палацковские причуды и замогильные завитки, бросившие, как мне казалось тогда, свою роковую тень на всю мою жизнь, вновь и вновь, вавилонским своим молчанием, говорили мне о невозможности спасения и выхода, о тщете усилий, о бессмысленности стараний. С Двигубским я не встречался в ту пору; *чердак* уже прекратил свое существование, запертый на замок; да я и вряд ли пошел бы туда, так плохо мне было; из *чердачных* кое-кто как раз эмигрировал; многие связи распались. Зима закончилась в марте *психушкой* (впрочем, «санаторного типа»), куда определил меня Ф. Е.Б., по призванию и по профессии психиатр; определил, впрочем, не только и не столько для облегчения моей, как я всерьез полагал тогда, душевной болезни, сколько, используя эту с его точки зрения, как я теперь понимаю, более или менее воображаемую болезнь в благих и практических целях, для получения *правильного диагноза*, не шизофрении, упаси боже, обрекавшей на полнейшее уже бесправие в отношениях с Софьей Власьевной, но какого-нибудь никого ни к чему не обязывавшего *невроза*, диагноза, который впоследствии, через пару лет, когда я закончу институт, куда после академического отпуска должен был возвратиться и где так называемой военной кафедры не было, и, следовательно, во всем своем грозном величии встанет вопрос об армии, соответствующей комиссии оставалось бы лишь *подтвердить*, что она, комиссия, делала относительно легко, тогда как новые диагнозы не ставила почти никогда, если же все-таки ставила, то *влепляла* все ту же шизофрению. План был хитрый, и план удался. Из психушки я вышел обросшим рыжею бородою и, как ни странно, не таким несчастным, каким был до нее, не потому, разумеется, что лечение помогло мне, никакого лечения в ней, по сути дела, и не было, а просто, наверное, потому, что наступила весна, наступила, после полутора месяцев в *совке*, в грязной курилке и палате на восьмерых, в спорах с мечтавшей меня *поставить на инсулин* (чего я все-таки сумел избежать), дурнопахнущей и слюно-брызгающейся врачихой, очередным воплощением все той же советской власти, — свобода. Выйдя же с бородой из психушки, понимая, что так, в общем, продолжаться не может, что надо что-то переменить, переломить, и увлекаемый в то же время некими кинематографическими идеями, так и не осуществленными мною, то есть мечтая в самом деле переломить жизнь и пойти по другому пути, сделаться как-нибудь, когда-нибудь режиссером (поступив, например, по окончании института на так называемые Высшие режиссерские курсы; таков был мой план) и снять — я даже довольно хорошо представлял себе, какие именно фильмы, увлекаемый этими мыслями и мечтами и решивши, пока еще продолжается отпуск, проверить, как все это выглядит *изнутри*, устроился, не без некоторых усилий, на киностудию «Мосфильм» так называемым помощником режиссера, в просторечье *помрежем*, или, в еще более простом речье, *хлопушкой*, то есть тем нижайшим в студийной иерархии персонажем, который хлопает перед началом съемок черной штукой с вставленными в нее железными номерками, объявляя *кадр такой-то дубль такой-то, кадр третий дубль второй* и затем убегает из этого *кадра*, замирает, согнувшись, в остальное же время играет роль мальчишки на побегушках, каковую я все-таки долго играть не смог, почему и бросил все это, не дождавшись конца контракта и довольно скоро кинематографические увлечения утратив, сбрав заодно и бороду, как если бы одно с другим было каким-то таинственным образом связано. Съемки проходили отчасти в самой студии, в павильоне, отчасти же, и даже по большей части, на, как это называлось, *натуре*, изредка в Москве, как правило — под Москвой, в каких-то заштатных заброшенных городишках, наконец — на Волге, под, кажется, Конаковым, где однажды чуть я не утонул, сброшенный в воду с лодки, в *шутку*, понятное дело, прикрепленным к нашей съемочной группе *спасателем*, типичным местным дядей Васей с фиолетовым носом, которому явно

надоело сидеть в лодке без дела и слушать болтовню всех этих интеллигентов; он же меня, не на шутку перепугавшись, и вытащил. Были бесконечные, я помню, поездки по этим городишкам, поселкам, каким-то *пансионатам*, в поисках все той же *натуры*, бесконечные ожидания на солнцепеке, чудовищные, кисло-капустные, отравно-котлетные столовые, точнее — *столовки*, где все мы (кроме оператора-вегетарианца, поедавшего в сторонке свой собственный унылый салат) с отвращением и бранью обедали; были в городишках пустынно-бульжные площади, где неизбежный Ильич шурился на нас с постамента, предлагая прекратить, наконец, контрреволюционную деятельность, и высившееся за ним здание исполкома, райкома, адкома смотрело всеми своими, от партийных портьер ослепшими окнами, предлагая контрреволюционную деятельность немедленно прекратить; от всего этого я так уставал, что, приходя домой вечером, падал, как правило, на кровать и засыпал минут на десять или пятнадцать, чтобы потом, вскочив с кровати, с той энергией и тем нежеланием сидеть дома, которые я теперь уже почти и представить себе не в силах, за зиму насидевшись, еще пойти, не всегда, но часто, куда-нибудь в гости, вновь, следовательно, но уже на каком-то совсем другом витке и этапе возобновив ту жизнь, которую вел годом раньше, встречаясь вновь с Икой, иногда Спичкой и как их всех звали, попадая, теперь уже, впрочем, не на чердаке, в мастерские разных художников или полухудожников, где собирались, соответственно, свои диссидентствующие или полудиссидентствующие компании и откуда я вновь возвращался домой, уже глубокой ночью, по почти пустынным, поливальными машинами щедро обрызганным улицам; домой же вновь возвратившись, видел, вновь засыпая, вновь и вновь эти дороги, столовые, эту съёмочную, с ее разнообразными персонажами, армянином-осветителем и крошечным корейцем-звукотехником, группу, и конечно же, эти затрапезные, по самые крыши опущенные в несчастье городишки, с их неизменным вокзалом и площадью перед оным, с коматозными окнами драконьего дома и памятником Ильичу, Кирпичу, с их обезглавленными церквями, старыми стенами, отвалившейся щебенкой, с их жалкими липами на жарком бульваре, их пылью, их бесконечными огородами, разбросом деревянных домиков на каком-нибудь косогоре, с которого открывалась вдруг почти неподвижная в своем величественном теченье река, мифологическая даль за рекою.

7

Двигубский позвонил мне однажды сам, спросил, усмехнувшись банальности вопроса, как дела, предложил, к моему удивлению, встретиться. Мы встретились по старой памяти у Чистых прудов (у Поганой, если угодно, лужи), в воскресенье, в мае, следовательно, — или уже, быть может, июне? — 1981, соответственно, года (как важны мне теперь эти даты; как невозможно поймать ими прошлое). Он показался мне очень повзрослевшим, каким-то окрепшим, даже руки его не так сильно болтались, как прежде. Пальцы у него были тонкие, а запястье уже тогда волосатое, с отчетливой косточкой. Была на нем какая-то глупая рубашка-ковбойка, в красноватую клетку, совсем не подходившая к серому, московшвейскому пиджаку, на ногах при этом чуть ли не кеды. Так среди наших знакомых никто, конечно, не одевался. Я сам, при всех своих душевных невзгодах, еще был в ту пору пижон, еще гордился, и как еще гордился, французской вельветовой курточкой и замечательными замшевыми ботинками, привезенными мне из Парижа, о которых один мой полуприятель, осуществивший, кстати, кинематографический план, не осуществленный мною, то есть поступивший, в самом деле, после совсем другого учебного заведения на режиссерские курсы, сказал, помнится, с вожделием на них глядячи, что такие ботинки должны быть у всех, под этими всеми понимая, разумеется, в первую очередь себя самого, предмет его страстной любви. На Двигубского мои щегольские ботинки произвели гораздо менее сильное впечатление, чем его кеды произвели на меня. Он сообщил мне, что год тому назад кон-

чил университет, что с аспирантурой, куда он должен был поступить, вышла, так он выразился, заминка, что его примут туда на следующий год, пока же он блаженствует, нигде не учась и не работая, но, как он, опять-таки, выразился, продолжая образование на свой страх и риск, занимаясь, в частности, древнегреческим языком, заняться которым было давней его мечтою, хотя следует признать, что шансов выучить сей язык богов и героев скольконибудь удовлетворительным образом у него, скифа и варвара, уже, в сущности, нет, если, конечно, он не посвятит этим занятиям все свое, теперь столь отраднo свободное, время, на что, однако, он тоже, увы, не способен, слишком много у него все-таки и других интересов и слишком сложным, по сравнению даже с латынью, оказался этот древнегреческий язык, от одного аориста можно сойти с ума, от склонения на – ми хочется пойти и повеситься. С другой стороны, обойтись без древнегреческого в жизни тоже никак не возможно. Нет, Гомера он еще не начал читать, он пытается читать трагиков, без большого успеха, хотя и с помощью одного замечательного старика, одного из последних, наверное, еще живых стариков такого уровня и калибра, который дает ему раз в неделю уроки, попутно рассказывая о своих колымских испытаниях, магаданских мытарствах, так что, если угодно, одна трагедия дополняет и оттеняет другую... Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира, проговорил я с той привычкой цитировать к месту и не к месту любимые строки, которая была мне в ту пору свойственна. К моему изумлению, он не узнал цитаты. На пороге стоит – Судьба... Был чудесный, легкий, весь в лужах и отсветах, день. Маршрут наш я помню довольно точно. Мы дошли до метро, пересекли Мясницкую, пошли по Сретенскому бульвару, мимо громадного, с его башенками, эркерами, фонарями, решеткой, целый квартал, в сущности, занимающего дома, построенного в начале двадцатого века страховым обществом «Россия», построившим, как известно, в Москве два знаменитых, для совсем другого двадцатого века предназначавшихся дома, пресловутый дом на Лубянке, с тех пор пропитавшийся кровью до последней своей половицы, и вот этот, отданный под коммуналки, на разтерзание тараканам, тазам, кухонным склокам, в одной из каковых коммуналок, в поделенной на два узких отсека высокой комнате, жил тогда Тихон П. (в контексте эпохи имя почти немыслимое, но так его, действительно, звали), один из ближайших друзей моей молодости, с которым, увы, я напропалую поссорился в конце восьмидесятых годов; спустились по Рождественскому бульвару, свернули, не доходя до Трубной площади, влево, прошли мимо Богородице-Рождественского монастыря, мимо тех, вернее, развалин, полуразвалин, дворов и двориков, помоек и несудачиц, в которые превращен был к тому времени Богородице-Рождественский монастырь, куда я любил заходить, почти не задумываясь о прошлом этих несудачиц дворов, гильотинированных церквей, как я и вообще в ту пору, в отличие от Двигубского, о прошлом дворов и домов не задумывался, но всякий раз, когда заходил туда, наслаждаясь тишиной, пустынною и какой-то особостью этого места, как будто выпадавшего из города, грохота, из враждебного времени, вращавшегося вокруг, почему я иногда, и даже довольно подолгу, сживал в самом дальнем его дворике, обнесенном покосившейся галереей, на которую выходил, бывало, с явно не нужной ему метлою, толстый татарин-дворник, смотрел на меня и тут же, ни слова не сказав, уходил; прошли, следовательно, мимо этих за полурухнувшею стеною спрятанных дворов и развалин, куда П. Д. нарочно повел меня через несколько лет, чтобы рассказать мне об истории этого монастыря, одного из древнейших монастырей Москвы, примечательного среди прочего тем, что именно там, обвиненная в колдовстве и бесплодии, пострижена была насильно в монахини Соломония Сабурова, первая жена Василия Третьего, разведшегося с нею вопреки увещаниям жестоко поплатившихся за увещания эти инок Вассиана Патрикеева и преподобного Максима Грека, а также иерусалимского патриарха, предсказавшего, что если московский князь во второй раз, при живой жене, женится, то иметь будет злое чадо, при котором царство наполнится ужасом и печалью, как оно, разумеется, и случилось, поскольку от второго брака Василия с Еленой

Глинской произошел, как все мы знаем, Иван Четвертый, за свою жестокость прозванный Васильевичем, Соломония же Сабурова, в монашестве София, вскоре сосланная из Москвы в Суздаль, пострижена была не только насильно, но, рассказывал мне Двигубский впоследствии, по распространившейся в народе легенде, беременною, в результате чего на свет появился будто бы сын ее, нареченный Георгием, единокровный брат Ивана Грозного, который его разыскивал с целью, понятное дело, немедленно уничтожить, но в розыске нимало не преуспел, поскольку, по легенде, Георгий этот превратился не в кого-нибудь, а в знаменитого разбойника Кудеяра, героя народных песен, славного своей жестокой удалью и лихой красотой (было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман...); прошли, еще раз, мимо примечательнейшего этого места, мимо Архитектурного института, дошли до Кузнецкого моста, спустились по нему, не задерживаясь, как почти всегда я задерживался, в Книжной лавке писателей, пересекли Петровку, затем Большую Дмитровку, тогда, разумеется, Пушкинскую, дошли до Тверской по Камергерскому переулку, называвшемуся в ту пору проездом Художественного театра, или проездом МХАТа, или даже просто проездом МХАТ, что приводило к немалой путанице с адресами, письмами, официальными справками, с каковой путаницей мне пришлось столкнуться впоследствии, когда весной 1985 года я туда переехал, чтобы прожить в этом проезде и переулке с весны 1985 до осени 1992 года лучшие, как мне теперь кажется, семь с половиной лет моей жизни, о чем я еще и подозревать не мог в тот майский, или июньский, весь в отблесках и лужах, день, точно так же, как не подозревал и не мог подозревать, разумеется, что, перейдя по подземному переходу Тверскую, тогдашнюю улицу Горького, пошли мы одним из моих, впоследствии, в это лучшее семилетие, излюбленных и постоянных маршрутов, мимо Центрального телеграфа, затем направо у обезглавленной церкви, превращенной наследниками и предателями Кудеяра в отделение этого телеграфа, или, выражаясь их языком, переговорный пункт, возле которого всегда стояли, скучали, курили солдаты, часами, видимо, ждавшие разговора с родной Алупкой, родным Ашхабадом; огибая так называемый Дом композиторов, с профилем Шостаковича на серой стене, через пыльный скверик с качелями – к Брюсовской церкви, большевиками не тронутой, проулочком и опять через сквер, по Шведскому, антисоветским своим названием пленявшему меня, тупику, мимо нового здания МХАТа, похожего на слоистый кирпичный пирог, мимо всегда, сколько я себя помню, стоявшей во дворе перед самым выходом на Тверской бульвар заржавленной старой машины, не могу только вспомнить теперь, была ли это «Победа» или крошечный послевоенный «Москвич», склоняюсь ко второму, затем – на бульвар и дальше – к Никитской площади, возле которой зашли, наконец, в кафе, оттуда – к Арбату. Я не знал будущего, как никто не знает его, и не интересовался прошлым, во всяком случае так сильно, как интересовался им Двигубский; от исторических, филологических и вообще от всяких штудий я был, наверное, дальше в то лето моей жизни, чем в какое-либо другое, не говоря уже о зимах и осенях. Я рассказывал, конечно, о киностудии, предполагая, впрочем, что рассказы эти Двигубскому не могут быть особенно интересны. Предположения мои не соответствовали, как оказалось, действительности. Чем дальше я рассказывал, тем внимательнее он слушал. Была, наверное, некая игра самолюбия в этих моих рассказах, вот, мол, какой я крутой, какой интересной жизнью живу, в какие попадаю приключения. Всего-то и делов, что хлопал хлопущей. Но не о том шла здесь речь. Я думаю теперь, что не столько само кино интересовало меня в ту пору, сколько некое чувство жизни, которое получал я от всех этих поездок, этих съемок, кадров и дублей. Мне был двадцать один год, было лето, неразрешимые вопросы остались неразрешенными, но и душевные тяготы, и ощущение болезни, и психушка были позади, и вот я ехал, допустим, сквозь очень солнечное, еще раннее, свежей влагой пахнувшее июньское утро от Киевского вокзала на троллейбусе по Мосфильмовской набережной, глядя на сверканье воды в реке и какой-нибудь импрессионистический пароходик, пробиравшийся сквозь это сверканье, и проходил затем,

показав пропуск, на студию, и начинались сразу какие-то дела, какие-то разговоры, телефонные звонки, чай и кофе, и всегда кого-то ждали, за кем-то надо было сбегать, и кто-то с кем-то, ясное дело, ссорился и ругался, и, наконец, отправлялись мы на автобусах и машинах, по пути распадавшейся кавалькадой, на натуру, в Конаково или в Звенигород... Некое было общее дело, которое мы делали, в котором я участвовал; дни казались заполненными, огромными; не зная будущего и не думая о прошлом, я так переживал настоящее, в какой-то, до той поры, не ведомой мне, может быть, напряженности и полноте, и, опять-таки, еще не подозревая, конечно, что мне предстоит искать и находить другие, гораздо более действенные способы пережить это настоящее, это всегда ускользающее, недостижимое и все-таки вечно манящее, вечно влекущее нас мгновение, вот это сейчас, вот сейчас. Эта была просто молодость, если угодно; вот и все тут. Мне показалось, во всяком случае, или, скажем иначе, вдруг, и даже с некоторым чувством благодарности, почувствовал я, что он понимает это, это чувство жизни, о котором я вовсе не говорил, которое само, наверное, сказывалось в том, что я говорил, точнее, в том, как говорил обо всех этих кинематографических приключениях, об этом исходящем реквизите, съестных припасах, иными словами, каком-то, я помню, торте, который актеры ели в кадре и который мы потом доедали всей группой, об этих дурацких монтажных листах, которые я должен был заполнять после каждого съемочного дня, и об этом, впервые, может быть, с такой отчетливостью открывшемся мне социальном расслоении, которое, при всей общности совершаемого дела, в этой группе господствовало, о той бездне презрения и зависти, которая отделяла студийный пролетариат, среди коего я и сам оказался, осветителей, помощников администратора, гримерш, костюмерш, от режиссера, художника, оператора и актеров, всех тех, короче, кто на советском официальном языке назывался творческими работниками и кого костюмерши и звукотехники за глаза и с удовольствием обзывали творюгами. Тут обнаружилась в нем способность хохотать на весь Шведский тупик, трясая в ту пору очень густой шевелюрой и сгибаясь пополам, до действительного упаду, что, при его худобе и долговязости, вызывало за него почти страх, не сломается ли при следующем приступе хохота. Творюги, повторял он, творюги, точно, творюги и есть... А я бы вот сейчас, сказал он вдруг, обрывая свой хохот, вот сейчас съездил бы в какой-нибудь Звенигород, или Дмитров, в какой-нибудь Калязин, какой-нибудь Клин. За чем же дело стало, сказал я, съездите. Только ничего там нету хорошего. Ночевать там негде, сказал он, гостиниц ведь нет, или мест в них нет никогда. А хорошего там много, и мне нужно, проговорил он в неожиданной для меня, какой-то робкой задумчивости, нужно было бы поездить по таким городам, городкам... Мы вышли как раз, хорошо это помню, на Тверской бульвар; он предложил посидеть на скамейке. У меня тут было, знаете ли, что-то вроде виденья... Он попросил у меня сигарету; закулив, долго смотрел на выпущенный им дым; откинулся на покатую спинку этой русской, из тонких, когда-то белых реек, с чугунными краями, скамейки; снова наклонился вперед; брови его взлетели; опустились; взлетели. Да, что-то вроде видения было у него позавчера ночью, сон или не сон, он сам не мог бы сказать, но что-то очень отчетливо увиделось ему во сне, или, скорее, перед самым засыпанием, на пороге сна и в предсонье. Это называется гипнагогическим состоянием, вставил я, знавший термин от Феба. Набоков в «Других берегах» описывает... Мне показалось, что «Других берегов» он в ту пору еще не читал. Читал зато Баратынского. Есть бытие, но именем каким, медленно, как будто вдумываясь в каждое слово, проговорил он, назвать его, не сон оно, не бденье, меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье. Какие неуклюжие и какие восхитительные стихи... Вот здесь-то, в этом промежутке между еще не сном, уже сном, в этом безымянном бытии, на границе разуменья с безумием, увиделось ему нечто, с тех пор не дающее ему покоя. Что же? Вот именно – что же? Вы сами знаете, Макушинский, как трудно пересказать сон, как бледнеют образы, запертые в слова, как меркнут краски этих подводных существ, светившихся в темноте, гаснущих на свету... Оставим сравнения. Он

думает все-таки, что это был не сон, не совсем еще сон, и потому так думает, что происшедшее в этом предсонье происходило не с ним, как обычно бывает во сне, но с кем-то, он только видел, его самого там не было, он был только зрителем. А был там кто-то, кто-то другой, герой этого не-сна. И был город, был маленький город какой-то, окруженный холмами, вот, очень маленький город, вот как это было, город в долине. И герой входил в этот город, вместе с армией, потому что шла война в этом сне, в этом городе. И в городе этом почему-то он оставался. Нет, там как-то было сложнее, я уже не знаю, не помню, и не это главное, а главное то, что происходит в тюрьме. Его сажают в тюрьму в этом городе. И вот кто-то убеждает его бежать. Нет, какой сокамерник и поделщик, не смейтесь, Макушинский, что вы, никакой не сокамерник, скорее следователь и допросчик, такой грузный, тяжелый. А он знает, что не надо бежать, что это все обман, что его заманивают в ловушку. А тот зовет, тот соблазняет. Дверь открыта, все готово к побегу. Я пришел освободить вас, я только притворяюсь вашим врагом. Он делает один шаг, делает и другой. Он движется как сомнамбула. Теперь бегите, бегите. И вот прожектор, проволока, тюремные стены. Он должен перелезть через стену, к стене приставлена лестница, он спрыгивает с другой стороны, с вышки в него стреляют, и все. Все? Все, сказал Двигубский, попросив у меня еще одну сигарету. Убит при попытке к бегству, и – все. Я заметил, что из этого можно было бы сделать фильм; замечание мое, показалось мне, ему не понравилось. Совсем не обязательно делать из этого что-нибудь, сказал он, глядя куда-то вверх, на колебавшиеся в чистом и легком воздухе вершины вязов, отделявших боковую аллею, в которой мы сидели, от широкой и главной; аллея, в которой сидели мы, ровной линией, в блаженной перспективе сужаясь, уходила к Никитским воротам.

8

Вот, собственно, с этой прогулки и начинается наша дружба, дружба, впрочем, не быстрая, поначалу не близкая. Он мне нравился, конечно, иначе бы и дружки не было; та первая, мгновенная антипатия, которую я почувствовал к нему при нашем знакомстве, давно уже прошла и забылась; но, кажется мне теперь, он нравился мне не столько сам по себе, хотя и сам по себе, конечно, тоже (его юмор, его оценки и мнения, довольно сильно повлиявшие на меня, его летающие брови и рудинская шевелюра...), но мне нравился, не меньше, если не больше, его фон, его мир, тот мир, которого он, Двигубский, охотно был представителем, не вступая с ним, казалось мне, в столь естественный для молодости конфликт, не уходя ни в прямом, ни в переносном смысле из дома, как всю жизнь уходил из дома я сам. Это значит, конечно, что у него был – дом, которого никогда, по сути, не было у меня. Потому я очень любил бывать у него – дома, в той, по советским меркам, огромной квартире возле метро «Академическая», в одном из университетских, как называли их, то есть профессорами университета, по большей части, заселенных, позднесталинской эпохи, домов, где он, П. Д., жил вместе со своими родителями, тогда еще совсем нестарыми, как я теперь понимаю, моими теперешними, как я с ужасом понимаю, ровесниками, своей младшей сестрой Мариной, своим еще более младшим братом Сережей, говорившим в ту пору, если вообще говорившим о чем-нибудь с кем-нибудь, исключительно о шахматах, турах, турнирах. Этот Сережа превратился теперь в бизнесмена; что-то, кажется, в туристической области... Отец П. Д., Константин Павлович Двигубский, был высокий и сухой господин, очень спокойный, внимательный, с ясными глазами и беззаботной улыбкой; был на то время главный советский специалист в какой-то очень особенной (и, конечно, секретной) сфере на стыке химии, физики и биологии, член-корреспондент, кажется, Академии наук и (как сам он говаривал, подчеркивая голосом советскую аббревиатуру) зав, завкафедрой в университете и зав соответствующей лабораторией в исследовательском институте на Воробьевых горах, филиал

которого располагался и, надо думать, до сих пор располагается в подмосковном Пущине, где у Двигубских была еще одна, мной не виданная, как бы загородная квартира, заменявшая им дачу, хотя и лишенная, конечно, обычных сарайно-огородных прелестей, того особенного деревянного пригородного уюта, которого Двигубский, кажется мне, вообще не знал и не чувствовал. Константин Павлович был при всем том убежденный франкофил, франкофон, ни о какой химии, физике, биологии со мной, конечно, не говоривший, но говоривший, за вечерним чаем в столовой, с расстановкой и юмором, с подробностями и цитатами, со вкусом к подробностям и с наслаждением от цитат, о Шатобриане и Прусте, о Верлене и Валери; бенжамен-констанова «Адольфа» он знал, кажется, наизусть; знал и авторов, в России почти не известных; давал мне, помнится, читать большие тома Шарля дю Боса; открыл для меня Маргерит Юрсенар (интерес к которой разделял со своим старшим сыном, ценившим в ней проникновение в исторические глубины); привил мне любовь к Бодлеру. А читал ли я бодлеровские стихотворения в прозе, «Парижский сплин»? Неужели еще не читал? Вот, возьмите и прочитайте, говорил он, выходя из своего кабинета с тоненькой мягкой книжкой, с безумными, на обложке, бодлеровскими глазами, перелистывая ее длинными волосатыми пальцами, открывая ее на «Признаниях художника», чтобы прочитать, себе самому – в сотый раз, мне – впервые, незабываемую, неперевожимую фразу о том, что изучение прекрасного (*l'étude du beau*) есть поединок (*un duel*), на котором (*où*) художник кричит от страха (*crie de frayeur*), прежде чем пасть побежденным (*avant d'être vaincu*). Я в ту пору, вернувшись в самом деле в институт, но вдохновенно прогуливая занятия (вдохновенно настолько, что меня из него в конце концов выгнали, затем, после некоторых хлопот и усилий, взяли обратно), учил как раз французский язык, раз в неделю приезжая на полтора часа к очень в ту пору хорошенькой преподавательнице не помню уже какого учебного заведения, подрабатывавшей частными уроками, жившей на Большой Бронной улице и весьма, я помню, удивленной моим желанием поскорее забросить учебник под лавку и перейти к чтению Бодлера, к чтению Паскаля, которым, не без влияния все того же Константина Павловича, я очень тогда увлекался, читая его в издании начала века, сначала одолженном, в конце концов подаренном им, Константином Павловичем, в какой-то поздний вечер, удивленному и смущенному мне (единственный его мне подарок, а ведь я сам так, кажется, и не подарил ему ничего...), переплетенном в фиолетово-желтую, в цветочных разводах материю и воспроизводящем то первое приглашенное пор-роялевское издание 1670 года, которым специалисты, насколько я знаю, давно уже перестали пользоваться, отвергая его как полуподделку, но которое я по-прежнему предпочитаю всем новым, филологически корректным версиям бессмертного текста. Вижу, вот сейчас беру ее в руки, Константина Павловича, с этой книгой в руках, в его необыкновенно красивых, с отчетливой, унаследованной его сыном косточкой, всегда очень плавно, как если бы они все пытались очертить какую-то круглую, чудную, облачную фигуру, двигавшихся руках; душа, говорит он, не удерживается, знаете ли, на тех высотах, на которые ей иногда удается подняться, она тут же падает с них, *elle y saute seulement, mais pour retomber aussitôt*. Одна мысль в этом издании «Мыслей» отделена от другой крошечным значком вроде нотного; возле некоторых, как вот, например, возле этой, только что мной процитированной, на 306-й странице, видны следы очень тонких, аккуратно поставленных крестиков, которые он, Константин Павлович, кажется мне теперь, перед тем как сделать мне свой подарок, тщательно стер резинкой, почти убрав карандашные, но не справившись, конечно, с чернильными, фиолетовыми, восходящими, надо думать, к какой-то другой эпохе, к предшествующему поколению, вкусившему много знаний, еще больше горя. Было, вообще, не совсем понятно, как мог такой человек сохраниться в советских условиях, как он выжил, не заматерев душой, в эвакуации, в послевоенной Москве, в ожидании своего в сорок шестом году арестованного отца (в лагере, между прочим, подружившегося с тем, тогда еще относительно молодым филологом, который, состарившись, давал теперь его

внуку уроки древнегреческого...), отца, освобожденного в пятьдесят пятом и почти сразу же скончавшегося от инфаркта, не дожив, говорил мне Константин Павлович, ни до чего, ни до двадцатого съезда, ни до первых, тайных, околейшими путями переданных писем из-за границы, от когда-то уехавших в эмиграцию родственников, первых, опаснейших с ними встреч. Мать П. Д., Елена Сергеевна, в разговорах наших почти никогда не участвовавшая, смотрела то на меня, то на мужа, то на сына, то опять на меня, какими-то странноватыми, удивленными, одновременно чуть выпученными и выкаченными глазами, из которых как будто кто-то когда-то взял и вынул блеск, огонь, юмор; я так никогда и не узнал, кто, почему. Если я ничего не путаю, она мирно, всю жизнь, преподавала все в том же университете немецкий и, кажется, датский, так что романское влияние вступало во взаимодействие и отчасти в противодействие с влиянием германским; П. Д., и немецкому, и французскому обученный еще в детстве, помимо и как бы даже вопреки советской школе, ненавистной ему, разумеется, так же как и мне, чувствовал себя и в той, и в другой сфере совершенно свободно, в отличие, наоборот, от меня, никакого домашнего образования, по сути, не получившего, добиравшего, что еще можно было добрать, на ходу, на лету, из разговоров с Константином Павловичем, из книг и из воздуха. В воздухе временами чувствовалась гроза. Такое бывало у меня впечатление, что вот сейчас, за пять минут, нет, секунд, до того, как я позвонил в дверь и Сережа с шахматным журналом в руке эту дверь мне молча открыл, все со всеми ругались, язвили, шипели, при моем появлении умолкли, потом, за чаем, понемногу отходили, оттаивали, без слов и объяснений мирились. В доме при этом всегда был порядок, и была чистота, бережно и как что-то драгоценное, как символ высшего какого-то смысла поддерживаемая в первую очередь Еленой, конечно, Сергеевной, которую ни забота о троих детях, ни всем известные тяготы советского быта, смягченные, впрочем, академическими немалыми привилегиями и помощью заграничных друзей, ни университетские ее обязанности, ни болезни, ни ссоры не могли, как рассказывал мне П. Д., заставить хоть на йоту поступиться привитыми ей в ее собственном родительском доме понятиями, чистотой скатерти на обеденном круглом столе. Теперь, когда я перебираю в памяти друзей и знакомых, мне кажется, что из всех из них только Двигубские никогда не ели на кухне, даже завтракали в столовой, уверял меня П. Д. (которому, следовательно, поэзия пресловутых московских кухонь осталась столь же чужда, сколь и поэзия дач, заборов, сараев...), не очень большой, но светлой, во двор и в небо, с верхушками тополей в нем, выходявшей комнате, где стоял узкий, красного дерева, буфет с парадной посудой и на стене, лицом к которой я обычно сидел, висели два, для меня незабвенных, для Двигубского, как впоследствии выяснилось, незабвенных тоже, портрета – мальчик и девочка, работы, утверждала Елена Сергеевна, отвечая на мой вопрос, безымянного крепостного мастера начала XIX века, написавшего этих двух, восьми- или девятилетних детей, брата и сестру, надо думать, у большого, в далекий парк распахнутого окна, причем отдаленное семейное сходство с этим так и оставшимся для меня безымянным мальчиком, тем более с этой девочкой, в комических, на наш теперешний взгляд, бахромчатых панталонах и с прелестной, еще детской, в уголках губ, улыбкой стоящей, опираясь пухловатой рукою на светлый овальный столик, – неуловимое, но все же несомненное сходство и с ним, и с нею виделось мне и у самой Елены Сергеевны, и, тем более, у ее мамы, бабушки, соответственно, П. Д., в детстве, как он рассказывал мне, обожаемой им, ко времени нашего с ним знакомства уже давно покойной, улыбавшейся точно такой же, в уголках губ, улыбкой на твердокартонной фотографической карточке 1915, кажется, года, которую он показал мне однажды и на которой эта совсем молоденькая его бабушка, *grande-mère*, как почему-то он имел обыкновение выражаться, сидит, не зная о грядущих трагедиях, в окружении своих смеющихся мамы и папы, еще каких-то смутных усатых дядей и дородных тетюшек за обеденным круглым столом, и так отчетливо, как будто ничего не переменялось с тех пор, видны те серебряные, на четырехконечных ножках, подставочки для приборов, кото-

рые, те же самые, не постаревшие и не погнувшиеся с тех пор, всякий раз, когда я оставался у Двигубских обедать, обнаруживались на скатерти, справа от больших и тоже, кажется, вполне старинных тарелок. Все это отрадно отличало их дом от домов многих других, знакомых мне и, говоря советским языком, потомственных интеллигентов, почему-то считавших, говоря тем же языком, культуру быта помехой для культуры как таковой, не снисходивших до мещанских мытых полов и обывательского искусства обращения с пылесосом. Не снисходивших, бывало, и до простой гигиены; вспоминаю теперь, и, вспоминая, улыбаюсь, конечно, как морщился и кривился Двигубский, когда мы оказались однажды в соседнем с ним доме, в филологической огромной семье, где все пахли и все пахло потом, помойкой, парашей, и в ванной комнате, когда я зашел в нее, обнаружилось такое количество тараканов, как будто только они одни в ней и мылись. Пойдемте, Макушинский, поскорее отсюда.

9

Пойдемте, говорил он, бывало, и за чаем у себя дома, стремясь, казалось мне, поскорее увести меня к себе в свою узкую, у самой прихожей, забитую книгами комнату, как будто ревнуя то ли Константина Павловича ко мне, то ли, наоборот, меня к нему. В этой узкой комнате порядок тоже был какой-то почти медицинский; ничего нигде не валялось; все книги стояли на месте; письменный стол, прислоненный к стене, на которой большая фотография Ключевского как некое незаходящее солнце висела в окружении сменявших друг друга звезд, Соловьева, причем, странным образом, Владимира, не Сергея, Ходасевича, Бердяева с яростно зажатой в уголке рта сигарой... стол этот поражал меня своей ежевечерне возобновляемой чистотой, пустотой, ровной гладью, на которой почти сиротливо выглядела аккуратно сложенная, только что перед моим приходом прочитанная Двигубским газета, «Правда» или «Известия». Он был единственным, кажется, из близких моих знакомых и точно единственным в своей семье, кто читал в самом деле газеты, те советские, с их отчетами об уборке урожая в селе Отравино Верхнемухинского района и постановлениями пленума це-ка-ге-бе-эс-эс о перевыполнении плана производства пеньки и пемзы в Пензенской области; причем читал их с видом чародея и чернокнижника, что-то знающего неведомое другим, не способного, да и не желающего, делиться своим тайным, опасным знанием с профанами; читая, вдруг кивал, чуть не кричал, как будто поддакивая чему-то, удовлетворенный сбывшимися своими пророчествами; добиться от него, что же такое видит он между строк, мне, однако, не удавалось. Пророчества его сбывались действительно; о чем свидетельствую теперь. Когда умер Брежнев, он, как мне показалось – нарочно, заехал ко мне, поздно вечером, чего обычно не делал, и сидя на нашей узкой кухне, сообщил мне и моей маме, очень его любившей, что к власти придет Андропов, но долго не проживет, скоро сдохнет, а потом начнутся всякие потрясения, ничего не сулящие нам хорошего. Что система может вообще развалиться, не предполагал в ту пору никто. Что система развалится, Двигубский тоже не утверждал, но что перемены грядут, утверждал в тот ноябрьский вечер 1982 года со всей решительностью; возможно междуцарствие, говорил он, но это так, эпизод, а по большому счету в России всегда если новый царь, то все новое, наивно думать, что здесь может быть какая-то стабильность, стабильностью обладают только гибкие, говорил он, системы, способные корректировать сами себя, системы же ригидные, прошу прощения за ученые сии выражения, отвратительные мне, как и вам, такие ригидные системы только притворяются стабильными, на самом же деле как раз нестабильны, и, разумеется, брежневская система без Брежнева продолжаться не будет, точно так же как хрущевская не продолжилась без Хрущева, сталинская без Сталина, а система, созданная Николаем Первым, тут же рухнула, как только он умер. Моя мама, пережившая и сталинскую, и хрущевскую эпоху, была с ним согласна, я же, как истинное дитя брежневизма, умом хотя и соглашался с ним, может быть, но пред-

ставить себе какие бы то ни было изменения в этом царстве Кощея не мог, бросьте, говорил я, им же невыгодно менять что-нибудь, так все и будет. Невыгодно, но придется, сказал он, они просто не выдержат гонки вооружений, значит, будут экспериментировать, а как только начнут экспериментировать, все посыплется, как карточный домик. И прежде всего начнутся национальные конфликты. Какие национальные конфликты, Двигубский, о чем вы? Какие национальные конфликты, то есть какие именно, он не знает, но что они неизбежно вспыхнут, в этом он убежден. Почему? Потому что Россия единственная страна, не закончившая Первой мировой войны. Тут уж я не мог не рассмеяться, конечно. Зря смеетесь, Макушинский, попомните мое слово. Все континентальные империи после Первой мировой войны развалились, и Османская, и Австро-Венгерская, только Российская восстановилась под новым именем. Но и она, конечно, развалится. Поэтому национальные конфликты неизбежны, и передел границ неизбежен тоже. Все это будет скоро, и будет очень страшно, чуть-чуть гайки ослабнут и начнется большая резня. Не дай бог, сказала моя мама, протягивая ему еще пастилы. А кстати, Паша, у меня есть для вас кое-что, сказала она, выходя из кухни и возвращаясь с блеклым французским репринтом известной книжки Мориса Палеолога о романе Александра Второго с княгиней Юрьевской. Книжка эта у Двигубского стояла на полке. Он так удивил меня своим разыгранным изумлением и непритворной, надо полагать, благодарностью, что я не стал вмешиваться.

10

Вот такие книги он читал с наслаждением. Я тоже читал их, конечно; они все-таки интересовали меня скорее вчуже, внутренней моей не касаясь. Вообще, мы встречались на его территории (как я это называл для себя); на свою я долго его не пускал. Иногда он казался мне человеком отражений, как однажды определил Ф. Е.Б. другого общего нашего знакомого; человеком, живущим отражениями прошлого, отблесками чужой жизни. А мне хотелось настоящего, хотелось жизни своей; оглушительных ответов на оглушительные вопросы. Вопросы, думал я в ту пору, которые он, Двигубский, себе даже не задавал, еще не задал, никогда, наверное, не задаст... Я делил людей на тех, с кем можно было говорить о самом для меня важном, и тех, с кем заговаривать об этом не стоило. Теперь я думаю, что и первые не вполне меня понимали; люди, как известно, вообще не понимают друг друга; у каждого вырабатывается, в конце концов, свой язык, почти не поддающийся переводу. Были некие темы моей молодости, скажем так, впоследствии, довольно скоро, сделавшиеся темами литературными, темами, или темой, моего, в 1985 году начатого, в 1994-м законченного романа, в 1998-м изданного мною под выбранным за неимением лучшего названием «Макс». На эти темы не говорил я с Двигубским. В каком-то смысле он был для меня загадкой. Он не казался мне человеком то, что называется ищущим, но и не казался нашедшим. Вокруг были люди, ничего не нашедшие, потому что ничего никогда не искавшие, удовлетворявшиеся готовыми формулами, дедовскими рецептами жизни, трюизмами традиционных решений. Двигубский к ним явно не относился. А если так, думал я, то к каким же людям, собственно, он относится? На этот вопрос ответа у меня не было. Он тоже, кажется мне теперь, довольно долго не пускал меня в свои тайные, от внешних взоров скрытые области. Что эти области у него в душе были, я не сомневался, но поговорить с ним по душам все как-то не удавалось мне. Между тем его оценки и мнения влияли на меня, как я теперь понимаю, довольно сильно, так сильно повлияли на меня, как, может быть, только мнения и оценки двух или трех человек за всю мою жизнь. В нем было великолепное равнодушие ко всякому авангарду, к интеллектуальной моде, к прыжкам и ужимкам посредственностей, гордящихся своей причастностью к чему-то возвышенному, не понятному профанам и неофитам; слишком, наоборот, понятная позиция иронического, брюзгливого превосходства над

миром, в ту пору еще только готовившаяся этот мир захватить, вызывала у него, в свою очередь, брезгливую усмешку инстинктивного отвращения. Еще не сознавая этого, мы вступали в эпоху, когда все делается не всерьез, все с подмигиванием и фигой в кармане, мы-то, мол, понимаем друг друга, вон мы какие умные, а над дураками мы всласть сейчас посмеемся... Он очень много читал, разумеется, но как-то все не то или не совсем то, что читали другие. Кто в двадцать лет читает Тургенева? Тургенева читают в четырнадцать – и затем возвращаются к нему после сорока, в пятьдесят. Мне иногда казалось, что он так и не вышел из XIX века. Пушкин был центром его вселенной. На вопрос о любимом романе он неизменно отвечал: «Капитанская дочка», что заядлые поклонники Джойса и Музиля воспринимали как не очень смешную шутку. К философии он оставался в ту пору на удивление равнодушен, исключая, пожалуй, только философию русскую, как часть некоей традиции, может быть, к которой чувствовал себя причастным; портрет Бердяева, как уже сказано, висел у него на стене, рядом с Ключевским; не исключая, впрочем, что Бердяев был для него прежде всего одним из авторов «Вех», автором «Философии неравенства», автором замечательной, в восемнадцать лет перевернувшей и для меня мир, книги «Истоки и смысл русского коммунизма», проницательнейшим и безжалостным критиком русской радикальной интеллигенции, с которой и у Двигубского, как историка, были свои непростые счеты, и в гораздо меньшей степени тем философом свободы, победы над земной, постылой, «объективированной» действительностью и прорыва к себе самому, каким он был в юности для меня. А как обойтись без прорыва, порыва? Как можно жить, думал я, не поставив под сомнение жизнь, вот эту жизнь, в которую кто-то бросил нас, у нас не спросившись. Мы все, конечно, со временем как-то приспособляемся к жизни, привыкаем к ней, может быть, становимся участниками ее. А все-таки, кажется мне, то наше юношеское, пусть даже и забытое нами впоследствии, несогласие с миром оставляет след, не стирающийся с годами. У не прошедших через это несогласие глаза какие-то другие, пустые... Двигубский, повторяю, не относился к потребителям полуфабрикатов и адептам блаженной бездумности. К какой же в таком случае категории людей отнести его, я, повторяю, не понимал. Все повторялось, действительно, когда я начинал о нем думать, мысль моя ходила по кругу и заходила все в тот же тупик. Счастливым он, во всяком случае, не казался. Помню его очень часто печальным, как бы окутанным, окруженным этой печалью, сквозь которую почти невозможно было пробиться. Что-то со мной не так, сказал он однажды (зимой, на улице, недалеко от стадиона «Динамо»; куда мы шли, не могу теперь вспомнить). Что же, Двигубский? Не знаю, но что-то есть неправильное во мне. Я это чувствую, но не могу сказать, что это. Что-то не наведенное на фокус, сказал он, что-то недоделанное, недодуманное, не... ну, впрочем, все равно, поговорим лучше о скифах. Историю которых, написанную одним американцем, он, Двигубский, с увлечением как раз читает.

11

Ясно было, во всяком случае, что все его весьма многочисленные занятия и увлечения, от скифов до сарматов и от варягов до греков, все-таки в глубине души не удовлетворяли его. Но ни о чем другом речь не шла, ни о каких, к примеру, литературных замыслах или хоть литературных мечтаниях, отдаленных надеждах и пускай несбыточных, но влекущих возможностях он в ту пору не говорил, даже как-то было трудно представить себе, чтобы он заговорил о чем-то подобном. Я же, признаться, вообще плохо понимал в молодости, как можно не писать стихов или прозы, не надеяться, по крайней мере, написать когда-нибудь такую прозу или такие стихи, за которые тебе самому не будет стыдно; зачем тогда жить... Признание, конечно, смешное, но пускай остается. Вспоминаю теперь зимний, ночной и полупьяный разговор с моим упомянутым выше приятелем, лучше – другом,

и гораздо более близким моим другом в ту пору, чем был для меня Двигубский, Тихоном П., жившим, как уже сказано, в огромном доме «Россия» на Сретенском бульваре, в коммунальной, на два почти каких-то корабельных отсека поделенной перегородкою комнате. Этот Тихон, длинноволосый и коренастый, был, пожалуй, единственным персонажем моей жизни, с которым я иногда выпивал. В нем были злость и честолюбие провинциала, приехавшего покорять Москву; но в нем же была какая-то, иногда почти трогательная, открытость, ранимость, редко свойственная столичным людям, уже в детстве получившим как будто прививку цинизма и опытности. И какая-то бывала в нем внутренняя, восхитительная тишина, в соответствии с именем. Он же, кажется, был единственным из моих приятелей, умевшим – в самом деле умевшим – знакомиться с девушками на улице, в электричке или в троллейбусе, глядя на очередную жертву шальными смеющимися глазами и почти всякий раз добиваясь если не в тот же день, то уж точно на следующий ее появления в его коммуналке, на его выдавшем виды, с просыпанным пеплом между подушками и потертой спинкой диване. Литературные амбиции были при этом нешуточные. Кем можно быть в жизни? – говорил Тихон, показывая почему-то на толстенную, с потрепанными тесемками, папку с ксерокопированным первым томом Шопенгауэра, тихо, в ожидании своего часа, лежавшую на крошечном ночном столике возле пресловутого дивана, еще не остывшего, может быть, после посещения очередной Нади или Наташи. Можно быть писателем, или художником, или, например, музыкантом. Если не быть ни тем, ни другим, ни третьим, то совершенно непонятно, как жить. То есть жить можно, но как не отчаяться? Если Левин, говорил Тихон, уже чуть-чуть покачиваясь на стуле, это Толстой без его дара, то что ж удивительного, что он прячет от себя веревку? Если не быть ни писателем, ни музыкантом, то можно только – что? Уйти в монастырь, говорил Тихон, человек вполне русский, пьющий и православный. Все остальное чепуха и не решает основного вопроса философии. Каковой, говорил он, вылавливая шпротину из консервной банки, проливая капли машинного масла на стол и тарелку, заключается вовсе не в отношении материи к духу, как мы учили в школе по Гегелю и Разгегелю... я заметил, закуривая десятую за вечер сигарету, что мы, кажется, что-то другое учили, по Марксу и Перемарксу... вовсе, продолжал он, наблюдая, как машинное масло стекает по хвостику последней шпротины обратно в консервную банку, не в отношении познания к бытию, надстройки к базису и диамата к истмату, а в том и только в том, чтобы найти хоть какой-то смысл в этой поганой жизни. Можно быть писателем – и можно уйти в монастырь. Все прочее чепуха и основного вопроса философии не решает. Ты меня понимаешь? Я тебя понимаю. Есть путь искусства и путь религии, никаких других нет. И шпроты съедены, и водка кончается. Пойдем у таксиста купим? Пойдем. Таксисты в ту пору приторговывали водкой по ночам, десять рублей бутылка. За водкой мы, конечно, пошли; что же до самого Тихона, то он не пошел, в конечном счете, ни тем путем, ни другим. Писателя из него не вышло, монаха не вышло тоже. Зато, когда началась так называемая перестройка и открылись сперва еще очень скромные возможности разбогатеть, когда смутный призрак наживы появился на вдруг чудесно и соблазнительно расширившемся горизонте жизни, одним из первых на моей памяти погнался он за этим призраком, в начале девяностых сделавшимся реальностью, обернувшимся банковскими счетами в Швейцарии, лимузинами, телохранителями, яхтами и, по слухам, чуть ли не виллою в Ницце, затем дефолтом, крахом, какими-то, опять же – по слухам, разборками и наездами, да простят мне взыскательные Музы чудовищные сии выражения, новым началом, прерванным обострившейся, очень редкой, наследственной болезнью крови, с которой, как тогда же и выяснилось, жил он и боролся всю жизнь, финалом, закатом, уходом. Ничему этому я уже не был свидетелем, поссорившись с ним в конце восьмидесятых годов – и вовсе не потому, разумеется, чтобы я имел что-то против богатства и прибыли, дикого капитализма и первоначального накопления, по Перемарксу, а потому, что злость возобладавала в Тихоне над тишиной и во всем, что

он делал и говорил, в том, как говорил и как делал, появился, к несчастью, вызов, вы вот, мол, интеллигенты, такие возвышенные, а я возьму да и заработаю миллион, и плевать я на вас хотел, и на Шопенгауэра вашего заодно; в самой его жажде денег был, следовательно, некий достоевский надрывчик, очевидная и яростная готовность что-то в самом себе разрушить и растоптать – зрелище, в конце концов, слишком мало для меня привлекательное. Обо всех, кого потерял в жизни, все равно жалеешь, перед всеми чувствуешь себя виноватым.

12

У Двигубского тоже были более близкие друзья, разумеется. По крайней мере одного из них я знал, даже довольно неплохо, даже несколько раз встречался с ним без П. Д., подружившегося с ним, и кажется, с ним одним, в университете, причем, как оба они мне рассказывали, сразу же, на первом курсе в первый же день; звали его, что тоже было в ту пору редкостью, хотя и не столь вопиющей, как Тихон, Петром, фамилия же была Федоров – сочетание отчасти анекдотическое в своей простоте, для меня, впрочем, пленительное и тревожное, потому что один Петр Федоров, другой Петр Федоров, в отличие от этого называемый, разумеется, Петей, уже был в моей жизни, в детстве, в том дачном поселке с незабываемым названием Мичуринец, рядом с которым и у моих родителей была дача. Тот дачный, детский Петя Федоров остался в памяти как толстый, круглолицый, туго-румяный мальчик, имевший склонность к интриге и ультиматуму (если хочешь дружить со мной, то не моги дружить с Мишей...); этот же, приятель Двигубского, ни о каком поселке Мичуринец слыхом не слышавший и знать ничего не желавший, был ладный, ловкий и белокурый, модно, почти шикарно одетый молодой человек, кутивший «Мальборо» и пивший только хороший коньяк, сын, как вскоре выяснилось, знатного дипломата, если не посла, то почти, часть детства проводивший в Англии, другую часть где-то чуть ли не в Сингапуре, сохранявший и в юности, и долго еще после юности ту особенную партийно-правительственную гладкость лица и облика, которая дается хорошим питанием, регулярным спортом и непоколебимой уверенностью в завтрашнем дне и которую, совершенно ту же, с тем же спокойно-равнодушным выражением глаз, обнаружил я впоследствии, к несказанному своему изумлению, в лицах, или на лицах, тех немногих аристократических отпрысков, фон или де, с которыми, во Франции ли, в Германии, приходилось мне сталкиваться. Как, собственно, Двигубский мог подружиться с этим мимошником, говоря языком эпохи, было загадкой для меня, покуда не обнаружилось, что мимошник он только напоказ и по видимости, на самом же деле наш человек, *ex nostris*, как выразился Двигубский, все понимавший и в политическом и, если угодно, в человеческом смысле, любознательный, довольно начитанный, часами и вечерами просиживавший в библиотеках, в архивах, при этом легкий, ни во что особенно не углублявшийся, не карьерист, или карьерист, по крайней мере, не наглый, не безоглядный, к слишком уж большим сделкам с совестью не готовый, отличный товарищ по путешествию, *Reisegenosse*, как выражался опять же Двигубский, раза два, в студенческую их эпоху, ездивший вместе с ним в археологические экспедиции, на раскопки каких-то курганов в южнорусских степях, затем в степях казахских, туранских, по его, еще раз, двигубскому выражению, в местах, мне не ведомых и для меня до сих пор совершенно не вообразимых. Из каковых экспедиций вернулись они евразийцами (в Аляску сослан был, вернулся алеутом, говорил с хохотком Петр Федоров), открывшими для себя почти никому в ту пору в России не известных Савицкого и Трубецкого, о которых сам я как раз и услышал от них обоих, Петра, в первую очередь, Федорова, потрепанные евразийские издания (София, 1921, Прага, 1922) раздобывавшего таинственными путями и хранившего, понятное дело, как величайшую ценность; не столько, впрочем, евразийские идеи их увлекали, говорил мне Двигубский, от идей этих он, во всяком случае, очень скоро и совсем отошел, сколько то ощущение пространства, безмер-

ной шири этого евразийского, всепобеждающего пространства, которое было этим авторам свойственно и которое, по его же словам, охватило его, П. Д., с почти болезненной настоятельностью в те два, или три, вместе с Петром Федоровым в скифских и туранских степях проведенные археологические лета.

13

Была, сделаем шаг назад, весна 1982 года, я только что вернулся из, пардон, Ленинграда, где прожил дней десять, прогуливая, как это многие делали в Совдепии и, кажется, до сих пор многие делают в России, промежуток между 1 мая, Днем солидарности мирового пролетариата с самим же собой, и 9, соответственно, мая, по поводу которого мы от шуток воздержимся; именно там и тогда впервые попало мне в руки одно из бесчисленных сочинений Д. Т. Судзуки, неведомым адептом переведенное на русский и размноженное с классической самиздатовской блеклостью; вспоминаю теперь очень ветреный, тоже, по-питерски, блеклый день, и как я стоял, дожидаясь трамвая, где-то на Петроградской стороне, время от времени укрываясь от начинавшегося, кончавшегося, начинавшегося снова дождя под навесом ближайшего к остановке подъезда, глядя на этот дождь с неожиданным, очень радостным, острым и все же мягким чувством какой-то новой с ним связи, новой связи с этими каплями, падавшими с навеса, этими рельсами, мокрой брусчаткой, табличкой с номером трамвая на остановке, каких-то новых отношений, в которые, удивляясь, вступал я с вещами и временем; возвратившись в Москву, почти сразу, в день приезда или на следующий, отправился в так называемую Библиотеку иностранной литературы, где, заказав все того же Судзуки, заказав Эллена Уоттса (Alan Watts), английский перевод Алмазной сутры, еще что-то из тех классических книг по дзен-буддизму, с которых и должно, наверное, начинаться знакомство с ним, стал проводить весенние вечера, иногда и дни, прогуливая занятия в институте, среди склоненных голов и шелестящих страниц, выписывая в, увы, не сохранившуюся у меня тетрадку мои первые дзенские анекдоты, первые коаны и мондо; пару раз, я помню, встречались мы после этих библиотечных сидений с Двигубским, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм, Феллини ли, Бергмана, в соседнем с библиотекой, знаменитом тогда кинотеатре «Иллюзион», куда билетов, разумеется, достать было совершенно невозможно, как если бы их вообще не существовало в природе, но куда Двигубский мог пройти почти на любой сеанс, поскольку, как выяснилось, учился некогда в одном классе с младшим внуком старшей администраторши, и если вы, Макушинский, не прекратите сейчас смеяться, я больше вас не возьму в кино никогда. К моим рассказам об Алмазной, а также об Алтарной сутре Шестого патриарха и о самом Шестом патриархе он отнесся с таким беззастенчивым безразличием, что я тут же, разумеется, эти рассказы и оборвал, в очередной раз почувствовав, что во внутренней моей нечего ему делать и что мы по-прежнему можем встречаться только на его территории. На каковой территории тоже происходили разные движения, перемещения сил, войск, отрядов. Вы слышали когда-нибудь об Елецкой республике? спросил он. О чем, о чем? спросил я. Вода в Яузе казалась черной, как машинное масло, с маслянистыми же разводами фонарей; на углу Яузской улицы и Серебрянического переуллка был винный, полуподвальный, со стоптанными ступеньками магазин, возле которого всегда околачивались пьяные, полупьяные, четвертьпьяные мужики, из которых двое, рассказывал мне впоследствии, в другой жизни, в Париже или, уже не помню, в Дижоне Двигубский, позвали его однажды сообразить на троих, по рублю, небось, с носа, и как же я жалею теперь, говорил он, глядя на Сену, что отказался, было бы что вспомнить теперь, здесь, в другой жизни, какого нашего разговора, как и самой этой жизни, мы, опять-таки и разумеется, и вообразить не могли себе в тот поздневесенний вечер, но, проходя мимо этой уже закрытой, кажется, винной лавки, сворачивая на бульвар, он, на своей территории, рассказывал мне о той само-

стоятельной, хотя и советской, республике, которая существовала, якобы, в самом начале 1918 года в Ельце, имела даже, будто бы, свои деньги, марки и конституцию, республике, на смутные сведения о которой он, Двигубский, наткнулся в ходе своих изысканий, касающихся, вообще, Гражданской войны, Белой армии. Это же вроде бы не ваша тема? спросил я. Нет, ответил он с той смущенной, как бы внутрь обращенной улыбкой, которая бывала ему свойственна, нет, это не его тема, и заниматься ею почти невозможно, архивы закрыты, или полужакрыты, или нужен, вновь и вновь, особенный какой-нибудь допуск, и огромная мемуарная литература, вышедшая в эмиграции, доступна ему только в совсем незначительной своей части, да и времени у него нет, он ведь должен, наконец, как мне известно, дописать свою диссертацию, в которой тоже, кстати, не сможет сказать всего, что думает и знает, а он, между прочим, уже много чего знает и думает о великих реформах и об отношении к ним в русском обществе конца 60-х – начала 70-х годов прошлого века, каковое отношение, раз уж мы заговорили об этом, поражает своим отсутствием, то есть оно, это общество, в широкой массе своей относилось к реформам, следовавшим за освобождением крестьян, с прогрессирующим равнодушием, как если бы только равнодушие и было способно к прогрессу, что же до Гражданской войны, то он занимается ею так, он выделил голосом это слово, с той же, смущенной улыбкой, так, для себя, без какой бы то ни было практической цели. Он собирается даже съездить в Елец, чтобы разузнать что-нибудь об этой самой республике, о которой ему пока достоверно известно лишь, что в какой-то момент, в марте, кажется, все того же 18-го года, к власти в ней пришли два диктатора-дуумвира, перестаньте смеяться, один большевик, другой, похоже, левый эсер. По бульварам дошли мы до провинциальной Покровки, похожей на улицу в уездном каком-нибудь городишке, Тамбове или том же Ельце, пересекли ее, вышли снова, как если бы они оставались неизменным пунктом притяжения, тайным полюсом наших прогулок, к Чистым, в фонарных отсветах, безмолвным прудам...; до Ельца же он так и не доехал за всю свою жизнь; я сам съездил туда спустя вечность, за него, в его память, летом 2007 года, и даже описал эту поездку в некоем эссе, где о нем, Двигубском, не решился упомянуть, вернее – решился не упоминать вообще, уже готовясь писать то, что вот сейчас сижу и пишу. Оставим все это, говорю я себе; Бог с ним, с этим тогда еще никому не ведомым, так не похожим на то, что нам виделось, будущим; вернемся в то прошлое, невинное своим неведением, благодаря неведению своему... Он еще несколько раз заговаривал со мной об этой таинственной Елецкой республике, которой, как я впоследствии выяснил, скорее все-таки не было, был лишь некий «Елецкий Совнарком», просуществовавший до лета 1918 года; на столе его все чаще появлялись книги о Гражданской войне; помню, как он обрадовался, когда я принес ему «Ледяной поход» Романа Гуля, перепечатанный в советской России по личному, если верить легенде, распоряжению Ленина, вот, мол, что пишут о себе сами белогвардейцы; огромный том воспоминаний Врангеля, которые привез ему кто-то из Франции, был весь утыкан закладками. Нет, отвечал он на мой вопрос, он не собирается ничего писать о Гражданской войне, ничего, ничего.

14

Он лучше напишет что-то о русской истории как таковой, говорил он, я помню, во время той единственной прогулки, которую мы совершили втроем, с Ф. Е.Б. (или – Фебом), тоже, если память меня не подводит, весной, но уже следующей, 1983 года, в Коломенском. Я думаю теперь о том, как все было обыденно и просто в той исчезнувшей жизни и каким значением наполняются эти обыденные события теперь, когда их участников уже нет на земле. Просто – Феб позвонил мне в какое-то воскресенье, предложив погулять где-нибудь по случаю хорошей погоды, я же ответил, что уже договорился встретиться в этот день с Двигубским, что у нас давно была мысль съездить в Коломенское и почему бы нам, по случаю этой

самой хорошей погоды, не съездить туда вдвоем; Двигубский, сказал я, о Коломенском знает все. Двигубский знал, действительно, все о Коломенском; я с радостью отдал бы, впрочем, полученные от него в тот день сведения и еще много чего в придачу за возможность повторить теперь простые действия этого дня, мой звонок ему из темной прихожей, где стоял у нас, под зеркалом, телефон, хмурый ответ Сережи, что он – сейчас позовет, мой разговор с Двигубским, и новый звонок Ф. Е.Б. (и телефон Феба, и телефон Двигубского до сих пор помню я наизусть, помню и оба моих московских номера, из эмигрантских своих номеров не помню ни одного), и даже, если угодно, мой путь до метро и в метро, по Кольцевой линии до станции «Павелецкая», затем, после торопливой, в толпе теней, пересадки под заgrabными сводами, по зеленой ветке, где поезд выезжает на мост и на свет и затем довольно долго идет мимо заводов, складов и пустырей, прежде чем снова спуститься под землю – до обшарпанной, кафельной, построенной уже после смерти усатого упыря, а потому и не столь заgrabной станции, в самой середке коей, мирно беседуя, уже стояли долговязый Двигубский и маленький Феб, меня поджидавшие. Беседовать им было, в сущности, не о чем; прогулка наша не совсем удалась. Я говорил с Ф. Е.Б. об одном, с Двигубским о другом, на его территории. Выяснилось, что к двигубским темам Феб равнодушен, а продолжать с ним наш давний, нескончаемый (в известном смысле и до сих пор не закончившийся), очень личный разговор в присутствии Двигубского тоже не получалось. Феб интересовался, по призванию и по профессии, прежде всего людьми, вот, в частности, этим Павлом, которого видел он во второй и, насколько я знаю, в последний раз в жизни; все, я помню, приглядывался к нему, как будто пытаюсь понять, что это за длинноногая птица такая рассуждает тут о «дьяковской культуре», до которой ему, Фебу, никакого дела как раз, в общем, не было, о которой сам я услышал в тот день впервые. Двигубский, пораженный нашим невежеством, в свою очередь чувствовал, наверное, этот, впрочем – совсем не назойливый, вполне доброжелательный интерес Феба – к нему самому, к тому, что прячется за словами, к Двигубскому как таковому, видел эти пытливые, словно оценивающие взгляды, которые Феб изредка, искоса, снизу вверх бросал на него, – и чем сильнее все это чувствовал, тем более, казалось мне, закрывался, не понимая и не желая понять, что Фебу ничего от него не нужно, что он не набивается Двигубскому ни в друзья, ни во враги, не претендует ни на роль конфиденанта, ни на роль спасителя от душевных невзгод, а что за этим стоит просто интерес к людям, интерес живой и подлинный, тот восхижительный, ни у кого больше не встречавшийся мне в такой силе и степени интерес к людям, который Ф. Е.Б. был присущ, сочетаясь в нем со столь же подлинной и живою готовностью этим людям, в случае надобности, помочь, на что эти люди, как правило, отвечали благодарностью и доверием. У всех правил есть исключения. Все более закрываясь, Двигубский, или так помнится мне теперь, все сильнее впадал в тон своей ранней молодости, к тому времени, о котором я сейчас рассказываю, уже, в общем, преодоленный, – то есть просто говорил без умолку, заваливая нас датами, подробностями строительства уже видимых, или невидимых, потому что более не существующих, давно снесенных или сгоревших церквей и дворцов, не слушая и не ожидая ответа, избегая Фебовых взглядов, улыбаясь преувеличенно белозубой улыбкой... так что Феб, в конце концов, показалось мне, как бы внутренне махнул на него рукою, почти перестал слушать, под конец сам впал в тот иронический, мефистофельский, как я называл его, тон, который бывал ему свойствен, когда что-нибудь вызывало, или кто-нибудь вызывал у него, что тоже случалось, раздражение и скуку. Коломенское в ту пору было еще местом довольно мало ухоженным. Церковь Вознесения, самая величественная из его церквей, стояла глухая, закрытая, обгаженная голубями, гулявшими под сводами галереи. Мы шли к ней по кособору. Что бы ни думали по этому поводу уважаемые его собеседники, говорил Двигубский, как-то особенно нервно и широко размахивая руками, лично он придерживается того мнения, что эта церковь, по-видимому, – первая каменная шатровая церковь в России, то есть увенчанная шатром, а не, скажем, куполом (вот он, этот шатер,

перед нами... говорил П. Д., так сильно и высоко выбрасывая вперед руку, как если бы он надеялся – чего не бывает на свете! – рукою до шатра дотянуться), – что церковь эта, еще раз, есть церковь моленная, то есть построенная, вернее – заложенная, вовсе не, как полагают некоторые ученые, с мнением которых он, Двигубский, не претендуя, впрочем, на роль знатока и авторитета в сей сложной материи, как раз и все-таки, по соображении всех данных и сведений, не согласен, – вовсе, значит, не в честь рождения наследника, сына Василия Третьего и Елены Глинской, будущего, соответственно, Ивана Грозного, столь любимого партией и правительством, а именно для того, чтобы вымолить у Господа Бога это рождение, этого наследника, о котором Василий мечтал так долго, что в конце концов развелся со своей бесплодной первой женою, Соломонией Сабуровой, о чем, если не ошибаюсь, мы с вами, Макушинский, уже имели удовольствие и случай беседовать, говорил П. Д., поглядывая на Феба, и не просто развелся, конечно, но заставил ее постричься в монахини, как это вообще любили делать русские государи с неугодными им более женами. Женившись же на Елене Глинской, Василий, как утверждают некоторые авторы, попросил тогдашнего, во всем послушного ему митрополита наложить на него, Василия, двухгодичную епитимью, во время каковой епитимьи не только новая церковь не могла быть заложена, но царь даже войти не мог ни в какую церковь, ни новую и ни старую, и к причастию не допускался, и к исповеди, кажется, тоже, а только молился и молился снаружи на паперти, в обществе юродивых, убогих и нищих. Другими словами, два года после брака с Еленой Глинской не происходило вообще ничего, ни церковей не закладывали, ни, похоже, в самом браке ничего друг с другом не делали, а только, значит, замаливали свой грех, и вовсе не потому, конечно, замаливали, что сами считали его таким уж большим грехом, а потому, что брак этот оставался в глазах всех правоверных и добропорядочных московских людей незаконным, а следовательно, и вождь наследник мог быть воспринят как незаконный, чего уж ни в коем случае нельзя было допустить. Когда же епитимья миновала и два года прошли, Василий Третий и Елена Глинская немедленно приступили к делу, не только в том смысле, в каком это понимаете вы, Макушинский, с развратной вашей ухмылочкой, и вы, очевидно, тоже (добавил он, поворачиваясь к Фебу, спокойно набивавшему свою трубку), а в том и прежде всего в том смысле, что, во-первых, начались поездки царской четы по монастырям с молением о чадородии, во-вторых же, строительство моленных храмов, и в частности вот этого, перед нами, для чего, между прочим, был выписан из Рима очередной итальянец, именем Петр Франциск Ганнибал (Ганнибал? переспросил Феб, пыхая сладким дымом), вот именно: Ганнибал, как ни странно, русскими летописями называемый Петр Фрязин или Петрок Малой. Фрязин значит просто иноземец, прошу заметить, а вот почему – Петрок, почему – Малой, он не знает. По другой, правда, версии, все было как раз наоборот, Василий Третий, как-никак уже сорокасемилетний, прельщенный красотой и манерами восемнадцатилетней молодой полячки, не только сбрил себе бороду – дело по тем временам неслыханное, – но принялся вообще подражать тогдашним московским щеголям, каковые щеголи, вызывавшие, понятное дело, возмущение все тех же добропорядочных и благочестивых людей, носили, как рассказывает, например, Костомаров, красные сапоги, расшитые шелком, причем такие узкие, что ноги у них болели, навешивали (мне ничего не стоило, конечно, найти то место у Костомарова, которое Двигубский пересказывал своими словами; вот оно): «...навешивали на себя пуговицы, ожерелья, на руках носили множество перстней, мазались благовониями, притирали себе щеки и руки и щеголяли вычурными манерами, состоявшими в известного рода кивании головы, расставлении пальцев, подмигивании глаз, выставлении вперед ног, особенного рода походке и т. п.». Все это как-то мало вяжется с епитимией и замаливанием грехов, говорил П. Д., покуда мы обходили – посолонь, как он выразился, очевидно наслаждаясь сим выражением – величественную, даже в заброшенности своей, церковь. Грехов не грехов, но о даровании наследника молились они истово и неистово, говорил Двигубский

– довольный, опять-таки, каламбуром, размахивая руками. Могло быть, конечно, и так, что Василий сначала щеголял, расставляя пальцы и подмигивая глазами, а потом уже ударился в молитву и покаяние. Даже, скорее всего, полагает он, так и было. Ну, как бы ни было, ни о каком другом наследнике русского престола так, наверное, не молились, так не мечтали, как об Иванушке, Иване-царевиче, Иване-царе. Все сделали, очень старались, чтобы подарить России монстра, залившего ее кровью, каковой монстр, кстати сказать, впоследствии нередко пировал здесь со своими опричниками. В день его рождения земля стонала и колебалась, страшный гром прокатился по всей Руси великой, сверкали молнии, в Тверской земле явился странник с волчьей головою, а где-то под Вяткой – неведомо чудище, нелепо и неказисто, пыхавшее огнем из ноздрей. Где-то здесь, в Коломенском, располагалась, по-видимому, и библиотека тирана – «либерия», как он ее называет, – изувер не прочь был почитать на досуге, хотя любимым развлечением царя-батюшки оставались все-таки – пытки. Можно понять, заметил на это Феб с мекфистофельскою улыбкой, вовсе этого, конечно, не имея в виду, но стремясь, похоже, переменить и тему, и тон разговора... Вы в детстве кошек не мучили? Двигубского передернуло... Не мучили? – переспросил Феб. Вот и я не мучил. А бывают, знаете ли, чудные такие мальчики, прямо ангелочки с голубыми глазами. Такой ангелочек поймает бабочку и с вожделением отрывает ей крылышки. Тихо так, долго, внимательно, с блаженной улыбкой. Или возьмет кошечку и начнет в нее гвоздиком тыкать. Кошечка кричит, а ему наслаждение. Их потом приводят ко мне, сказал Феб. И что же? – спросил Двигубский. Вы их вылечиваете? Феб в ответ только хмыкнул – что можно было понять как угодно, и так, и этак, и еще как-нибудь. А между прочим, сказал Двигубский, Иван Грозный в детстве тоже любил бросать кошек с высокого крыльца, любил смотреть, как они мучаются и кричат. Сам кричал от удовольствия, хлопал в ладоши. Хороший мальчик, сказал я. Что же до упомянутого выше Петрока Малого, он же Петр Фрязин, то судьба его, подобно судьбе его великого предшественника Аристотеля Фиораванти, была, по-видимому, ужасна, поскольку в Россию-то они все приехали, а выбраться отсюда уже не могли, и того и другого, с разрывом в пятьдесят лет, посадили под замок, чтоб не рыпались, Петра Фрязина схватили, похоже, при попытке к бегству, после чего сведений о нем уже нет, уморили, небось, или удавили где-нибудь, чтобы другим неповадно было порываться на волю. Мы все знаем, что в эту страну проще въехать, чем из нее выехать, так что если кому-нибудь из нас суждено оказаться за границей... Вы хотите уехать? прервал его прямым вопросом Ф. Е. Нет, ответил Двигубский; скорее нет, не хочу. А вы? По рельсам побежал бы отсюда, с совершенно неожиданной для меня, какой-то шипящей яростью проговорил Феб, единственный из нас троих впоследствии не уехавший, только приезжавший однажды, в 1994 году, ко мне в гости. С высокого берега Москвы-реки открывалась в ту пору еще почти свободная даль, пойменные луга, отдельные какие-то трубы и далекие, но такие далекие, что казались призрачными, очертания облачных новостроек. Я подумал, я помню, что история все-таки совершенно не интересует меня. Какое мне дело, в конце концов, до того, что здесь было. Есть только то, что есть, вот сейчас. Вот эта плавная, такая совершенная в своем загибе, излучина реки, эти луга за нею, эти две, очень длинные, бесшумные, темные, почти впритык друг за дружкой скользящие по воде баржи, эти долгие волны, расходящиеся за ними, с гулким плеском бьющие в зачарованный берег. Есть только то, что – вот сейчас – есть. Но мы не удерживаемся в этом есть, не выдерживаем настоящего, оно всегда превышает нас, мы не справляемся с ним. Мы слышим его призыв, но мы не в силах – ответить... Я еще не знал, конечно, что мне суждено будет все снова и снова думать об этом, в разные годы по-разному, всегда так же. Есть, по-видимому, лишь несколько мыслей, которые нам дано без обиняков и отговорок подумать за нашу жизнь. Мне хотелось – или мечталось – в молодости, чтобы это напряжение настоящего не кончалось, чтобы душа не падала, как писал Паскаль, с тех высот, на которые она так редко взбирается. Увы, эти блаженные мгновения всегда, конечно, заканчи-

ваются, непреходящее сейчас всегда преходит, проходит, образ вечности тускнеет у нас на глазах. Душа падает – во время (думал я), и значит – в историю. История, иными словами, казалась мне частью того падшего, больного временем мира, в котором душа отчуждается от себя же самой, в котором она томится, в котором себя теряет. Что мне эти Василии, что мне эти Иваны? Всегдашний круговорот насилия, непрерывное повторение жестокости... Есть, в самом деле, какая-то роковая повторяемость русской истории, говорил между тем Двигубский, какое-то роковое и бессмысленное возвращение все тех же тем и мотивов, как если бы кто-то сидел и дергал за ниточки, все одни и те же, одни и те же. Вот о чем он хотел бы когда-нибудь написать... Но в искре небесной, думал я любимой цитатой, прияли мы жизнь, нам памятно небо родное. Небо в тот день было совершенно чистым над Москвою-рекою, как если бы не в Москве мы были, а там где-нибудь, на родине Петра Фрязина, Аристотеля Фиораванти. Почему уже вечером, когда небо померкло, оказались мы на тогдашней улице Димитрова, теперь опять Большой Якиманке, я, как ни стараюсь, вспомнить уже не могу; помню только, никогда не забуду, как мы шли втроем от метро к центру, мимо французского посольства, и как, когда мы посольство уже прошли, из темноты переулка выступил вдруг нам навстречу низенький, коренастый, в кепочке, молодой человек, окликнувший Феба по имени-отчеству. Прогуливаетесь? – спросил он, быстрым и склизким взглядом ощупывая меня и Двигубского. Прогуливаемся, ответил Феб, а ты что же? А я на дежурстве, ответил тот, отступая вновь в темноту, исчезая в ней с той же внезапностью, с какой появился. Кагэбэшник, сказал Феб, когда мы отошли шагов на десять или пятнадцать. Наблюдает, небось, за посольством. Ну и знакомые у вас, сказал я. Это бывший пациент, сказал Феб, вдруг принимаясь смеяться. Обычный кагэбэшник, мелкая сошка. Его выгнали из гэбухи, за пьянку. А он, говорил Феб (смеясь и с наслаждением, похоже, выдавая врачебную тайну), а он тогда попытался покончить с собой, оставив записку всего из одного предложения. Феб, я помню, выдержал паузу как хороший рассказчик. Какого же? – Не могу жить без «Органов»! Тут Двигубский принялся, понятное дело, хохотать и сгибаться; я тоже. Не могу жить без органов... Да уж, без органов не проживешь... И что же, вы его лечили? Лечил. И его обратно взяли? Взяли, как видим. Хорош опричник, говорил Двигубский, давясь своим хохотом. Не могу жить без органов. А нам-то, нам-то без органов какво? Вы бы все же так громко-то не кричали, а то ведь они и вон в том переулке стоят, его братья по разуму. А я что, хохотал Двигубский, я ведь только о почках, о печени...

15

Еще я вспоминаю какой-то зимний слякотный день, не могу теперь точно вспомнить в каком, в том же 83-м, или, может быть, 84-м году, когда он пришел ко мне и, обнаружив у меня на столе Кантову «Критику чистого разума» в соседстве с Гуссерлевыми «Картезианскими размышлениями» и пачкою болгарских бесфильтровых сигарет «Шипка», которые я почему-то в ту зиму курил, снова принялся хохотать и сгибаться, потом, отхохотав, объявил, что «Шипка» очень здорово сочетается с Кантом, тем более с Гуссерлем, и что, между прочим, его собственный прадедущка, то есть отец его бабушки, *grande-mère*, маминной мамы, скончавшейся, когда ему, Двигубскому, было двенадцать, в детстве обожаемой им, был, если верить семейным преданиям, героем этой самой Шипки, то есть обороны Шипки в 1877 году, после чего сделался предводителем дворянства во Владимире, но затем, если он, Двигубский, правильно истолковывает дошедшие до него из уже почти неправдоподобного прошлого слухи, начал все чаще, выражаясь языком эпохи, служить Бахусу, что, понятное дело, карьере его не пошло на пользу, *grande-mère*, во всяком случае, что-то явно скрывала и намеренно путала, когда рассказывала ему, П. Д., в его, теперь уже тоже неправдоподобном, детстве о своем отце, его прадеде. Я спросил, называл ли он и в детстве свою бабушку

так, *grande-mère*? Конечно нет, сказал он, снова расхохотавшись. Позвольте уж и мне, сказал он (с каренинской интонацией насмешки над своими словами...), позабавиться «Шипкою». Своих сигарет и своей зажигалки у него никогда с собой не было. Нет, конечно, говорил он, вытаскивая бесфилтровую сигарету из мягкой пачки, вертя и ту, и другую, и сигарету, и пачку, как бы присматриваясь к ним, в своих длинных пальцах, он начал называть ее так потом, про себя. И потому, наверное, начал так ее называть, что есть, согласитесь, что-то смешное и глуповатое в самом слове бабушка, к его... *grande-mère* решительно не подходящее. Ну, что такое бабушка, говорил он, наклоня голову, чтобы закурить, наконец, эту короткую ядовитую сигарету (страшнее «Шипки» был, кажется, только «Дымок»), поднося к ней (как ясно вижу я теперь все это...) французскую черную, с золотистым окончанием и кружочком, цеплявшимся за кремь, одноразовую зажигалку фирмы ВИС, привезенную мне кем-то из-за границы и снабженную у основания (в обувных мастерских, если память не изменяет мне, это делали) золотистой, опять-таки, блямбою, через которую можно было снова напустить в нее газ (славное изобретение русских умельцев...), что такое, действительно, бабушка? Какая-то комическая помесь бабочки с бабой, Али-Бабы с кондитерской фабрикою Бабаева. Знаете кондитерскую фабрику Бабаева? Ну, еще бы, сказал я. Что до него, Двигубского, то он с детства путает ее с заводом имени Бадаева, знаете, есть такой? Еще бы не знать, сказал я, когда он здесь, за углом. Быть не может! – воскликнул Двигубский. Я предложил ему пойти на него посмотреть, то есть пойти просто-напросто погулять по набережной, где я часто гулял в ту пору один, предаваясь своим собственным картезианским размышлениям, поискам трансцендентального субъекта в себе, а на самом деле, если отвлечься от этого, с тех пор забытого мною, философского, или псевдофилософского, языка, попыткам продлить в себе некую ясность, увидеть, совпадая с собою, как бы дорастая до себя самого, яснее – и еще яснее, мокрые, скажем, или, наоборот, обведенные снегом ветки зимних деревьев, низкое небо, льдины в реке, с неровными, как будто обломанными краями, бездонно-черную воду между этими льдинами... продлить хоть на минуту, на полторы минуты это блаженное усилие, присутствие в настоящем...; темы моей молодости (не только молодости), очень скоро сделавшиеся темой (одной из тем) романа («Макс»), уже задуманного мною в то время. Любопытствующих и отсылаю теперь к нему. Зато теперь, когда время это давно уже стало вечностью, я, в него всматриваясь, всего отчетливее вижу, в романе, конечно, не упомянутую (я стремился, в самом деле, к какой-то трансцендентальной, абстрактной ясности, решительно и упрямо избегая любых конкретных знаков места, знаков истории...), всего отчетливей, как ни странно, вижу я, теперь всматриваясь в этот день и это время, – Трехгорку, Трехгорную мануфактуру на другом берегу реки, две ее тонких, высоченных, в низкое небо врастающих трубы, круглую башню с большими, но разделенными на мелкие прямоугольники окнами, ее длинный, желтый, с корабельными, числом семь, коротенькими трубами на крыше, основной корпус, вытянувшийся вдоль реки и всегда, еще в детстве, напоминавший мне огромный, в самом деле, корабль, океанский фантастический лайнер, почему-то оказавшийся на берегу и теперь пыхтящий, дымящий изо всех сил в надежде вновь отправиться в плавание; Двигубский, никогда, как выяснилось, здесь не бывавший, смотрел на эти ломаные фабричные линии с тем же сосредоточенным и отстраненным вниманием, думаю я теперь, с каким я сам смотрел на льдины и воду, в поисках картезианского *cogito*; брови его под меховой и мохнатой шапкой, которую он начал в ту пору носить (которую сам называл логическим продолжением шевелюры; шапкой рыжей, чуть ли не лисьей, какой-то даже слишком для него пижонской и дорогой...), не скрытые этой шапкой брови его взлетали; сложив руки на груди, узкоплечий и долговязый, стоял он пару минут неподвижно; вдруг, расхохотавшись, объявил, что не хочет быть статуей и что мы можем идти дальше. Налево или направо? Он был в замечательном настроении в тот день; каком-то даже игривом; обычная печаль его в нем не чувствовалась. Если к пивному заводу, то налево,

конечно. Пивной завод имени Бадаева, теперь, говорят, закрытый, прятался за красностенной неразберихой заборов, за высокими железными воротами, в которые, как всегда, въезжал грязный, бурый месивом из-под колес брызгавший грузовик; пахло солодом; в реку, недалеко от завода, спешили влиться мутные, желто-пенные пивоваренные струи (с тютчевским ударением на последнем слоге). Затем начиналась автомобильная стоянка; заснувшие, засыпанные тающим снегом «жигуленки» и «запорожцы», мечтавшие о неведомых автострадах. Туда, куда струи спешат, куда поток несет, проговорил Двигубский, принимаясь вновь хохотать. Известно ли мне, что товарищ Бадаев, член, между прочим, думской фракции большевиков, чьим славным именем завод сей был назван при его жизни, в тридцатых каких-нибудь, вряд ли раньше, годах, что сей Бадаев не дурак был – что? не дурак был выпить, вот что, был даже, за пьянку опять-таки, изгнан, в конце концов, со всех своих высоких постов и назначен директором треста – хотите знать какого? Треста «Главпиво», вот какого, говорил, хохоча и махая руками, Двигубский, «Главпиво»! «Главпи-и-иво»! А Бабаев? О Бабаеве он ничего не знает. Тоже был, наверное, какой-нибудь пламенный революционер. Я сказал, что есть такая книжная серия – «Пламенные революционеры» – в издательстве, да простят меня Музы, «Политиздат», серия, между прочим, в которой подвизаются разные советские писатели с репутацией приличных и либеральных, продающие душу только по высшей ставке, за чистые денежки прямиком из партийной кассы. Он сказал, что впервые об этом слышит. А вот если бы он был не он... Ежели бы я был не я, как говорит Пьер Безухов Наташе Ростово-вой. Ежели бы он был не он, а какой-то совсем другой человек, он написал бы повесть под названием «Бабаев и Бадаев». И это была бы повесть уморительнейшая, смею заверить вас, мил-государь, животик бы себе надорвали. Он заговорил теперь с интонацией Чехова в бунинских «Воспоминаниях». Да-с, мил-государь, животик бы надорвали себе. Бабаев и Бадаев, изво-лите видеть, очаровательнейшие люди, душевнейшие друзья, пример пионерам и восторг октябрят, строители советского парадиза, мифологические персонажи, проходящие сквозь всю нашу с вами, столь славную свершениями, историю. Все меняется, все рушится, все летит в пропасть и стремится в тартарары, а они все идут, вечные двое, все идут, все дальше, по кровавому снегу, сквозь пургу и взрывы, под кремлевскими звездами, и один все пьет свое пиво из темной бутылки и, когда пиво в бутылке заканчивается, бросает бутылку в снег, в пролетарской же, крепкой его руке вырастает немедленно новая, а другой поедает, шурша фольгой, конфеты, «Мишку на Севере», и «Петьку на Соловках», и «Счастливых школьников в Дубровлаг», и незабвенные шоколадки «Аленка, или Оскорбленная невинность», и оставляет разноцветные фантики на снегу, на века; все идут и идут, как те двенадцать, под музыку революции; а Ленин между тем превращается в Сталина, а Троцкий обнимается с ледорубом, а Зиновьев целуется с Каменевым, а Хрущев сажает кукурузу на Красной пло-щади и стучит своим вечным ботинком по вечной, все стерпевшей трибуне, а они все идут, все идут, все говорят, и говорят, и никак не могут наговориться, и Бабаев все твердит шоко-ладными губами, что надо, надо строить в отдельной стране, а Бадаев, икая, говорит уже только о любви, о любви, о нежных изгибах, о таинственных глубинах коммунистической страсти. Я предложил ему, впадая в его интонацию, закончить повесть – бровями; тема, ска-зал я, вам близкая. Не мандельштамовскими ласточками круглых бровей, но бровями бреж-невскими, взлетающими в небо как ласточки, когда Брежнев умирает и эпоха заканчивается. Да, эпоха заканчивается, ответил на это Двигубский. И вот мы смотрим, как летят они в чистом небе, в безднах эфира, эти две ласточки, все, что осталось от анекдотического ген-сека, тихо-тихо, медленно-медленно исчезая в торжествующей над миром лазури... Дарю вам этот финал. Дарю вам этот сюжет, сказал он, я его, оставаясь собой, не использую. Я тоже не использую, сказал я, если останусь собою. Автомобильную стоянку давно мы уже про-шли; вдалеке за излучиной появился железнодорожный мост, которым и заканчивалась здесь набережная; появились, на нашем берегу реки, крутым косогором уходившем вверх, желто-

серые спины стоящих там, наверху, советско-имперских домов, торжественными, здесь и отсюда почти не вообразимыми фасадами обращенных к Кутузовскому проспекту; на другом берегу – какие-то бараки и склады; деревья, обведенные снегом, – повсюду; странное (как написал я потом в романе), как будто выпадающее, в свою очередь, из города, из сплетения улиц, проспектов, ни с чем не соотнесенное, ни к чему не причастное место... (конец цитаты), теперь, говорят, застроенное со всех сторон небоскребами. Я подумал, я помню, глядя сбоку и на ходу на Двигубского, что трансцендентальный субъект трансцендентальным субъектом, но что, на самом деле, мы все состоим из нескольких (многих), очень разных и друг с другом почти не связанных, может быть, персонажей, из которых только двум или трем, наверное, суждено всерьез воплотиться. По мосту, громокая, шел бесконечный товарный поезд; смутное солнце проглянуло сквозь снежную завесу; стальным блеском засветилась на мгновение река. У всякой дружбы есть, как мы знаем, свои слова и словечки, свои шутки и шуточки, непонятные непосвященным; Двигубский впоследствии в самых разных случаях и на самых неожиданных поворотах жизни поминал мне, сгибаясь от хохота, этого трансцендентального субъекта, о котором, не удержавшись, я все-таки заговорил с ним в тот день, и мое решительное заявление, что кантовское первоначально-синтетическое единство апперцепции является, без всяких сомнений, важнейшей предпосылкой феноменологической редукции у Гуссерля. В еще более дальнем последствии, незадолго до конца и финала, когда я сам давным-давно уже и думать забыл о редукции с апперцепцией, он поразил меня, не у реки, но у моря... об этом, впрочем, еще рано пока говорить. Поразил он меня и в эту нашу давнюю встречу, вот о чем следует сказать непременно, своим, уже перед самым прощанием со мною, после того как, возвратившись с набережной, мы посидели еще с моей мамой, накормившей нас необыкновенно вкусным в тот день гороховым супом с корейкой, за время нашего отсутствия сваренным ею, на узкой кухне с видом на изыски сталинского барокко, венки, гербы и каменные колосья, с видом, за колосьями и гербами, на все ту же Трехгорку... своим, еще раз, на узкой кухне, совершенно неожиданным для меня сообщением, что после защиты диссертации уезжает в Ленинград, навсегда. Как в Ленинград? как навсегда? Вот так, в Ленинград, после защиты диссертации, уезжает он, навсегда. Ему предложено место в архиве, где надеется он, укрывшись от Софьи Власьевны, заниматься тем, что ему интересно. И еще возможно преподавание, если не в университете, то уж точно в педагогическом институте. И вообще... Что? Вообще ему здесь надоело. Вот так вот. Прощайте, Макушинский, спасибо вам за этот день, столь очаровательно проведенный.

16

Это навсегда обернулось примерно полутора годами. Но в Ленинград он, защитив диссертацию, в самом деле уехал; и было в этом отъезде что-то, меня удивившее. Вряд ли я думал об этом так же, как теперь думаю, теми же словами, теми же мыслями. Но удивление было, это я помню точно. Никто, как я теперь знаю, не покидает родной дом безнаказанно. И никто не покидает его беспричинно. Я не думал, что он проживет в том же доме, в той же квартире всю свою жизнь; я вообще обо всей жизни, своей или чужой, не задумывался; двадцатитрехлетним нам никогда не исполнится, конечно, ни пятьдесят лет, ни шестьдесят; так что и думать нечего обо всей жизни. Зато теперь, сравнивая разные, по-разному прожитые жизни друзей и знакомых, я нахожу среди них особую категорию счастливых или, наоборот, несчастных, никогда никуда не переезжавших, родившихся, выросших, ходивших в школу и теперь стареющих возле станций метро «Сокол» и «Юго-Западная»; к таким-то несчастным-счастливым, если выразить моими теперешними мыслями мое тогдашнее ощущение, и относился Двигубский, отчего его отъезд в Ленинград оказывался чем-то неправильным, как если бы, уехав, он убежал, или попытался убежать, от судьбы и взбунто-

вался против предложенной ему жизни. На роду, короче, было ему написано никуда не уезжать, а он взял да уехал – вот было мое чувство, едва ли создаваемое мною самим. Поэтому его возвращение через полтора года оказывалось в моих глазах, наоборот, как бы восстановлением естественного порядка вещей – вновь, впрочем, нарушенного, и уже навсегда, через почти десять лет, в совсем другую эпоху и моей, и его жизни, а заодно и в другую историческую эпоху, приближение которой он предчувствовал, а я нет, поскольку вообще об истории в ту пору не думал. Что мне самому на роду написано переезжать с места на место, из одной квартиры, одного города, одной страны в другую квартиру, страну, другой город, я как раз предчувствовал, даже, наверное, сознавал, хотя вовсе не рассматривал, разумеется, состоявшийся, наконец, в результате очень сложной, совершенно советской, с подкупом чиновников и содействием подпольных посредников, обменной операции переезд мой в Камергерский переулок, тогда проезд МХАТа, или проезд МХАТ, или Художественного театра, как первый в ряду бесконечных моих переездов, пролог будущей бездомности (каковым он, конечно же, и являлся), но рассматривал его как начало новой, взрослой, свободной жизни (каковым он тоже, конечно, был) – и как настоящее начало моей литературной авантюры, меня как писателя, поскольку, едва покинув родительский дом, переселившись в эту очень своеобразно спланированную квартиру, начал я (весной 1985 года) писать, наконец, уже довольно давно задуманный мною роман, который писал затем до 1994 года, закончив его уже в Германии, в Эйхштетте, и после довольно долгих мытарств опубликовав в 1998 году под не совсем, до сих пор, устраивающим меня названием «Макс», роман, как уже сказано выше, в котором темы моей молодости сделались темами литературными, нерешенности (неразрешимости) этой молодости, изрядно меня помучившие, превратились в предмет описания, элемент сюжета, часть фабулы, каковая возможность писать о них и оказалась, если угодно, единственным доступным мне способом как-то справиться и совладать с ними, заменив их совсем другими, куда более радостными тревогами, поисками решений литературных, выходов из тех тупиков, в которые вновь и вновь забредали мои фразы и фабульные ходы, как забредают в них все ходы и все фразы, успехами и неудачами моего сочинительства. Не потому, наверное, начал я всерьез писать после переезда в эту квартиру, что не мог писать в другом каком-нибудь месте, а потому, еще раз, что этот переезд был как бы чертою, отделившей меня от уже кончавшейся юности, уже готовой, от меня в свою очередь отступая, превратиться в слова, предложения, периоды... Квартира же состояла из двух смежных, совершенно одинаковых, как левая и правая рука, комнат, выходивших окнами в проезд МХАТа и, под углом, на Тверскую, тогдашнюю улицу Горького, поднимавшуюся вверх, где замершие у светофора машины, как только включался зеленый свет, с остервенением устремлялись к Пушкинской площади, я же мог судить о привычках сего светофора по дребезжанию стекол в огромных, плохо закрывавшихся рамах, с полузамазанными краской шпингалетами, что придавало жизни некий ритм, который я теперь вряд ли бы сумел выдерживать, и даже тогда выдерживал, я помню, с трудом, с еще большим трудом выдерживая или вообще не выдерживая потрясающий звуковой фон в дни праздников, в дни народных торжеств и гуляний, например и в особенности – в кроваво-слякотные дни большевицкого переворота, когда на Центральном телеграфе устанавливалось светящееся табло, вспыхивавшее революционными гвоздичками, звездочками и через каждые восемнадцать минут (однажды я засек время) с железной настойчивостью сообщавшее мне и миру, что Ленин такой молодой и что юный Октябрь впереди – технические возможности Октября были, как все мы знаем, даже в старости весьма ограничены, но, увы, настойчивости хватило ему больше, чем на восемнадцать минут. Шумов и звуков вообще было много; одинаковые, как левая и правая рука, комнаты отделены были друг от друга пропускавшей все шепоты, шорохи перегородкой, как пропускали их и перегородки между самими квартирами, так что в левой комнате я мог каждую третью ночь, иногда три ночи подряд, слышать громкоголосого-гитарную

пьянку разгульных соседей, а в правой крики полубезумного еврейского мальчика, непрерывными ночными скандалами с ума сводившего, то есть приближавшего, если угодно, к собственному состоянию, свою затурканную маму с усиками и бабушку, старую, уже почти по-буденновски усатую большевичку, которая, жалуюсь на жизнь и ропща на судьбу, сказала мне как-то у лифта, что все думает, думает и, нет, все никак не может понять, за что ей послано такое наказание, она ведь уже пятьдесят лет в партии, у меня же, несмотря на всю перестройку, не достало-таки смелости, или наглости, ответить ей, что вот именно за это, сударыня. Кроме упомянутых комнат, почти ничего, кстати, и не было в странной этой квартире; была крошечная безоконная ванная и еще более крошечная, тоже безоконная кухня, по своему происхождению обыкновенный чулан – кухонь в этом в конце двадцатых годов спланированном и в тридцатом, кажется, построенном доме поначалу не предполагалось вообще, но предполагался совместный коммунистический быт, радостное питание шариков-винтиков в диетической столовой, смерть буржуйам, светлое будущее. Семь лет, там прожитые, были, наверное, самыми счастливыми в моей жизни.

17

В Ленинграде, если память не изменяет мне, мы встречались с Двигубским два раза, зимой 1984/85 года и осенью 1985-го, незадолго до его возвращения в Москву; оба раза на Невском проспекте, у выхода из метро, где оба раза была, разумеется, серая толчея, под ногами, в первый приезд мой, снежное грязное месиво, склизкий снег в темнеющем воздухе. Он жил где-то на Петроградской стороне, у своей тетки, сестры отца, женщины, судя по всему, что я слышал о ней, замечательной; ни в первый, ни во второй мой приезд мне, увы, не удалось познакомиться с ней, и домой к ней – к себе – Двигубский не приглашал меня, почему – я не знаю, но совершенно так же, думаю я теперь, как он не приглашал меня впоследствии к себе домой в Дижоне, в Париже, причем само собой разумелось, что если бы мне негде было ночевать, я мог бы и там и там переночевать у него, но ночевать всякий раз было где, а в гости просто так он не звал. Получается, что я только в Москве и бывал у него дома. В Москве и был дом, как сказано. В Ленинграде он оба раза посматривал на часы, болтавшиеся на его темном запястье, и, казалось, с трудом мог сосредоточиться на разговоре со мной, хотя явно был рад меня видеть. О своей работе в историческом архиве говорил он поначалу совсем неохотно, затем, как будто поневоле и с трудом оживляясь, начал, я помню, рассказывать, что занимается как раз фондом графа Валуева, председателя комитета министров при Александре Втором, одного из, как, улыбнувшись, он выразился, творцов великих реформ, замечательного, вообще, человека. Валуев – мой герой, сказал он, я помню. Вот как? Да, именно так. Он, П. Д., еще напишет о нем когда-нибудь книгу, да, большую книгу об эпохе Александра Второго, в центре которой будет стоять граф Петр Александрович Валуев, его герой, замечательный человек, создатель русского земства, блистательный публицист и никакой, конечно, писатель, один из умнейших и образованнейших людей своей особенной, нам, нынешним, слишком плохо понятной эпохи. Говорил он все это через силу, без всякого увлечения, посматривая на часы и думая, казалось мне, о чем-то другом, постороннем и неприятном. А известно ли мне, что Валуев был зятем Вяземского? Мне о Валуеве ровным счетом ничего не было в ту пору известно. Да, зятем Вяземского и жил в его доме. А знаю ли я, что молодой Валуев не раз встречался и с Пушкиным? Нет, не знаю? А что в ранних рукописях «Капитанской дочки» Гринев зовется Валуевым, я тоже, может быть, слышу впервые? Валуев не прототип Гринева, конечно, а все-таки Пушкин о нем, видимо, думал, думал, может быть, что изобразит вот такого молодого человека, каким в 1836 году был Валуев... На работу, как выяснилось, устроила П. Д., воспользовавшись своим именем и связями в университетских кругах, вышеупомянутая

его тетка, Наталья Павловна Двигубская, старшая сестра Константина Павловича, вообще, как он рассказывал мне впоследствии, оказавшая такое влияние на всю его жизнь, какого никто другой, быть может, не оказал, в частности, как рассказывал он (много позже, в Провансе, в Париже), еще в детстве увлекшая его историей, историей, еще раз – в частности, Средних веков, и в особенной частности, Средних веков поздних, французско-бургундских, которыми занималась она целую долгую, трудную и одинокую жизнь, так что, в 1994 году оказавшись в Дижоне, он, по его словам, чувствовал себя так, как будто приехал если не домой, то в издавна знакомое, в семейных преданиях почти такую же роль игравшее место, какую в жизни многих из нас, родившихся после войны, играет, например, Ташкент, место эвакуации, нищенства и спасения наших мам и теток, что не помешало ему, впрочем, очень скоро сбежать оттуда в Париж, куда, кстати, Наталья Павловна начала ездить в середине 80-х по два-три раза в год, чуть ли не жить там у кого-то из их, как оказалось, весьма многочисленных, в перестройку выплывших из забвения родственников, каковое обстоятельство, говорил мне впоследствии Двигубский, отчасти определило и его собственное решение не задерживаться в бургундской провинции. Все это, зимой 1984/85 г., было еще, как говорят немцы, музыкой будущего, *Zukunftsmusik*, музыкой, которую мы уже, впрочем, слышали, уже могли расслышать, наверное, но еще совсем издалека, совсем смутно, сворачивая в тот день с Невского на Екатерининский канал (как называл его упорно Двигубский), спускаясь, по стертой лестнице, в ту полуподвальную пельменную, куда я довольно часто заходил в мои питерские приезды, где на полу зимой всегда была грязно-снежная жижа, вечно собираемая какой-нибудь сгорбленной злобной старухой, существом уже откровенно мифологическим, с помощью вонючей серой тряпки, намотанной на швабру, причем бранящаяся эриния всякий раз старалась погнать волну этой грязи прямо на посетителей, тебе и вот тебе прямо под ноги, пельмени же, со сметаной или с маслом и уксусом, всякий раз казались удивительно вкусными, чему объяснением служить может, полагаю я, только наша тогдашняя глупость, молодость, здоровый желудок; Париж (подхватывая повисшую тему) присутствовал, хотя и недостижимый, в нашей жизни с самого детства; те немногие родственники, к примеру, с которыми отец и тетка П. Д. (отец очень тайно, тетка же ничего не боялась) поддерживали отношения и до начала конца Софьи Власьевны, присылали, в частности, вновь и вновь каких-нибудь своих собственных, более или менее случайно оказавшихся в Совдепии знакомых, с дарами и с просьбой этих знакомых пригреть, пригласить на чай, сводить в Эрмитаж, в Третьяковку, в пельменную. Вот в эту пельменную? Ну, конечно. Девушки были в восторге... Речь шла о двух студентках, я помню, с которыми мы должны были встретиться и действительно встретились в этот день, погуляв сначала вдвоем по Михайловскому парку, по Летнему саду, по ветреной набережной, причем я, в свою очередь, рассказывал ему, конечно, о своем наметившемся переезде в Камергерский переулок и впервые, кажется, о своих литературных планах, о задуманном мною романе; Двигубский, поживавшийся, поправлявший свою мохнатую шапку (логическое развитие шевелюры...), болтавший плохо привинченными руками, слушал меня внимательно, но с вниманием, не скажу наигранным, скорее принужденным, вниманием, к которому он вновь и вновь принуждал себя, отвлекаемый, казалось мне, какими-то своими собственными, тревожными мыслями, какой-то внутренней своею заботой, отделявшей его, так мне казалось, и от всего того чудесного, всякий раз по-новому и вновь восхитительного, пускай наизусть нам знакомого, что возникало, как сбывшееся обещание, вокруг, от порфировой вазы у входа в Летний сад, возле которой я через двадцать лет, в 2005 году, должен был встретить А. и которая в январе 2008 года вдруг треснула и раскололась, не выдержав, в конце концов, русских медвежьих морозов, от деревянных ящиков, скрывающих статуи, от бледно-зеленого неба над высокими кронами, от Ростральных колонн за ледяной, в торосах, пустыней Невы. Из двух француженок, с которыми встретились мы у Эрмитажа, одна оказалась очень

хорошенькой, бело-розовой, фламандско-рубенсовской, спокойно-веселой, вторая же являла собою скорее тип гадкого утенка, с большим мокрым ртом и отчетливыми складками кожи на шелушащемся лбу; впоследствии выяснилось, что вторая, тип гадкого утенка, происходила из знатнейшей, и сознанием своей знатности преисполненной до кончиков ногтей на ногах и последнего кресла в гостиной, французской семьи, что дед ее был сенатор, дядя – министр и что жила она в первом округе, на Сите, в двух шагах от Пон-Неф, где я и бывал у нее в гостях, впервые в 1988 году оказавшись в Париже, в устроенной для нее родителями в том, по сути дела, дворце, где все они обитали, отдельной, по-парижски все-таки очень маленькой квартирке с видом на Сену, по которой все время проходили, конечно, прогулочные катера, Bateaux Mouches, бросавшие свои разноцветные отсветы на стены и стулья; а рубенсовская блондинка была дочерью провинциального адвоката, вполне, наверное, богатого, владевшего и акциями, небось, и недвижимостью, но непреодолимой пропастью отделенного все-таки от родителей дочерней подруги. В тот зимний и совсем нехолодный день в Ленинграде они обе предстали перед нами замотанными во все шарфы, какие, по-видимому, им удалось раздобыть, по четыре шарфа на каждую, так что, думаю я теперь, вечер мог бы быть описан как процесс постепенного разматывания и затем вновь заматывания всех этих шарфов, каковое за- и разматывание и составляло, в сущности, основное его содержание. Разговор был светский, с редкими поползновениями на литературность. Вы любите Пруста? Обожаю... J'adore Proust, tout simplement. Куда мы пошли от Эрмитажа, я уже не могу вспомнить теперь, помню только, что присоединился к нам вскорости со своей невестой-англичанкой, совершенно невыразительной, какой-то, тоже напрочь забытый мною, не могу даже вспомнить его имени, питерский приятель Двигубского, и что, теперь уже вшестером, поехали мы к еще одному, очень питерскому, персонажу, уже моему знакомому, длинноволосому некоему Диме, жившему в Парголово и занимавшемуся фотографией, а также игрой на японской флейте сякухати. Ехать к нему надо было с Финляндского вокзала на электричке; за окнами сразу сгустилась снежная ночь; огни пустились мелькать там и сям, под скрип и грохот состава; за две остановки до нашей в вагон вошло вдруг человек двадцать матросов в черных бушлатах с автоматами Калашникова в руках. Ни до, ни после ни в одной электричке ничего подобного я не видел. Они шумно расселись по деревянным лавкам, поставив автоматы между ног, и тут же, все как один, закрыли глаза. Куда и почему их, с этими автоматами, на обычной электричке перевозили, никто из нас, конечно, не знал и никогда уже не узнает. Мы постарались как смогли успокоить притихших француженок, побледневшую англичанку. Матросам явно хотелось только спать, спать и спать. Все равно было страшно.

18

На вторую нашу встречу, осенью 1985 года, Двигубский явился с девушкой по имени Света, студенткой в ту пору медицинского института, впоследствии его женой, теперь вдовой, матерью его дочери Ольги, теперь парижанки, сотрудницы «Лионского кредита». Под ногами на этот раз был мокрый асфальт и мокрые листья; небо было рваное, питерское, со стальным блеском в прорезях облаков. Почему-то мы пошли по колоннаде Казанского собора; я подумал, я помню, что никаких Свет среди наших знакомых не было и что нужно было очень постараться, чтобы найти девушку с таким советским именем, не встречающимся в святцах. Девушка показалась мне смущенной и никакой; была она в ту пору довольно хорошенькая, круглолицая, не полная и не худенькая, в польском песочном плащике и трогательной цветастой косынке, в вишневого цвета туфельках и с вишневой же сумочкой, заглядывая в которую в поисках чего-то, чего никогда в ней не было, она старалась не щелкнуть блестящим замочком, но незаметно закрыть его, не привлекая к себе внимания, поэтому медленно-медленно, не доводя дело до рокового щелчка, сдавливала обеими руками

уже прижатые друг к другу половины этой скромной маленькой сумочки, чуть оттопыривая при этом нижнюю губку, с непоколебимым тихим терпением. Самое поразительное было для меня то, что Двигубский взял ее с собою, не предупредив меня об этом заранее; ему, видно, очень важно было мне ее показать, меня, может быть, удивить. Обращался он с ней с какой-то умиленной предупредительностью. Еще я подумал, я помню, что он даже и не попытался, наверное, влюбить в себя одну из тех двух, к примеру, француженок, с которыми знакомил меня в мой прошлый приезд, как на его месте попыталось бы сделать большинство наших общих приятелей, считавших, что брак не роскошь, а средство передвижения, и что мне это очень, конечно, нравится. Он предложил съездить в Царское. В Пушкин? переспросила Светлана. Да, в Царское, ответил Двигубский. Им предстояло прожить вместе двадцать два года. Это я теперь научился разговаривать с незнакомыми людьми, расспрашивая их об их жизни; почти любой человек говорит о себе охотно. Тогда я сам был смущен и не знал, что сказать. Двигубский тоже не старался поддержать разговор. Почти молча доехали мы до вокзала, когда-то Царскосельского, теперь Витебского, входя в который я всякий раз думал и до сих пор, входя в него, думаю, разумеется, об Анненском; имя, Светой в тот день услышанное впервые. Ахматову и Блока она, конечно, читала. В кассовом окошечке сидела специально для нас подобранная, из всех кассовых злыден самая злющая, востроносая крашенная блондинка. Три билета – куда? Так и говорите, что в Пушкин, молодой человек... В глазах ее читалось одно-единственное, зато заветнейшее, желание – чтобы мы вот сейчас, сию минуту, все трое, в мученьях подошли. Вот вам и поедem в Царское село... И улыбнемся мы сквозь слезы... И мне, и ему ничего не стоило, разумеется, заполнить весь перегон до Царского блаженной россыпью любимых цитат; Царское и есть, собственно, одна большая цитата. Его мысль двигалась явно в другую сторону; понизив голос, заговорил он снова о гражданской войне, о революции, о гибели царской семьи, о страшной гибели великого князя Михаила Александровича, содержавшегося, впрочем, и в отличие от Николая Второго, не в Царском, но в Гатчине, затем перевезенного в Пермь и в июне восемнадцатого года убитого там. Между прочим, недавно читал он потрясающие воспоминания графа Валентина Платоновича Зубова, создателя знаменитого Зубовского Института Искусств на Исаакиевской площади и прямого потомка екатерининского позднего фаворита. Воспоминания эти вышли в Мюнхене, в начале шестидесятых годов; сам Зубов, между прочим, скончался только в 1969 году, уже при нашей с вами жизни, Макушинский, а вот мы сидим в электричке, и – что? И ничего. Просто странно все это... Граф Зубов, как бы то ни было, хорошо знавший великого князя, рассказывает в этих воспоминаниях, ссылаясь, впрочем, на Сергея Мельгунова, знаменитого историка, книгу которого о красном терроре (тут он еще сильнее понизил свой и так низкий голос) вы, конечно, читали (я, разумеется, не читал), что Михаила Александровича, более или менее свободно жившего в Перми в гостинице, какие-то местные бойкие большевички в один прекрасный день просто выкрали, вместе с его секретарем англичанином Джонсоном, выдав себя за переодетых белых, разыграв, следовательно, перед великим князем сцену освобождения, а перед всем миром сцену побега, так что, скажем, граф Зубов еще некоторое время верил, что Михаил действительно бежал из Перми и находится, как сказано в тексте воспоминаний, в гостях у Сиамского короля. У какого Сиамского короля? А вот он, Двигубский, как раз и не знает, у какого Сиамского короля, но есть в этом, согласитесь, какая-то великолепная и трагическая нота абсурда, вообще свойственная всей русской истории... На самом же деле великого князя и Джонсона просто отвезли в соседний лесок и там расстреляли. Я, конечно, не вспомнил, сидя в той электричке, наш разговор на Тверском бульваре, четыре с половиною года тому назад. У Светы при ближайшем рассмотрении глаза оказались очень зеленые, очень кошачьи; смотрели они на него в тот день с каким-то восхищенным изумлением, как если бы она, Света, все пыталась и вот все никак не могла понять, откуда взялся в ее жизни такой человек, как вообще может быть такой чело-

век, способный о таком и так говорить... В вагоне на сей раз ни бушлатов, ни бескозырок не было; через проход от нас сидели, как сидят они всегда и во всех электричках, пухло-понурые тетки с авоськами, занимавшие все шесть, друг к другу повернутых мест, внучки и правнучки тех других, революционных матросов. Каким образом попали к нему в руки упомянутые им воспоминания графа Зубова («Страдные годы России»), я, разумеется, не спросил у Двигубского; он сам рассказал мне, что познакомился здесь, в Питере, с совершенно замечательным человеком, морским офицером, капитаном какого-то, второго, что ли, ранга, у которого они со Светой (влюбленным взглядом подтвердившей истинность его слов) были позавчера в гостях, на улице Пестеля, во время какого-то визита ему и удалось у капитана выпросить оные воспоминания на пару дней почитать. Его откровенность меня поразила, я помню; на мой недоуменно-вопросительный, в Светину сторону, взгляд ответил он успокоительным кивком, быстрым взлетом и медленным, со счастливой улыбкой, опусканием ресниц. Что до его нового замечательного знакомого (кавторанга? не удержался я от иронических скобок...), вот именно: кавторанга, то кавторанг этот работает в каком-то закрытом, таинственном, военно-морском институте, так называемом «ящике», где советская власть производит на страх врагам то ли субмарины, то ли торпеды, – и бесконечно страдает от этой своей деятельности, свободное же время посвящает прежде всего генеалогии, генеалогии, прежде всего русских, хотя и не только русских дворянских фамилий, и, вообще, истории, прежде всего, опять-таки, русской, в которой его, кавторанга, что ему, Двигубскому, более чем понятно, интересуют не общие схемы и выводы, черт бы их все побрал, а только живые лица, подлинные события, анекдоты минувших дней в лучшем, пушкинском значении этого слова... Что же до самой нашей поездки, то она сливается теперь, разумеется, с другими какими-то, в разные годы и с разными людьми, поездками в Царское, в Павловск, в Павловск и в Царское, в Царское и, наоборот, потом в Павловск; от этой, со Светланой и Двигубским, на всю жизнь остались в памяти, в нашей общей, в бессмертном идиотизме своем, плакаты, развешенные какой-то остроумной пожарной частью в глубине любимого парка, приюта Муз, за всеми прудами, предлагавшие сознательным гражданам самой счастливой страны остерегаться адского пламени, не играть с огнем и геенной, соблюдать, да простят меня Аониды, правила пожарной, да простит меня Аполлон, безопасности. На одном из этих плакатов изображен был хмельной малый с перекошенной счастливой мордой, красным носом картошкой, с бутылкой водки в одной и зажженной спичкой в другой корявой руке; надпись под ним гласила: «В хмелю веселый был Назар – пока не сделал он пожар!» На соседнем плакате имела надпись, не менее замечательная: «Вспомнил ночью лишь Овечкин, что в гараже оставил свечку». Каковой Овечкин изображен был в виде кувшиннорылого мужика в полосатой пижаме, приподнявшегося, вращая выпученными зрачками, на смятой постели, рядом с мирно спящей женою; за окном уже полыхало пламя мировой катастрофы. Двигубский, как было сказано, имел способность хохотать, сгибаясь, на грани слома нескладной его фигуры. Вот вам, говорил он, давясь хохотом, вот вам и поэзия Царского села... Здесь столько лир, заметил я в свою очередь, повешено на ветки... Но и моей, и моей, хохотал, сгибаясь, Двигубский, как будто, как будто... Другого места не нашли, сказала (увы, всерьез) Света. Через полгода Двигубский возвратился в Москву, еще через месяц состоялось у них дома, на Академической, некое подобие свадьбы, на которую его тетка из Питера, выбор его не одобрявшая, отказалась приехать, так что я, увы, и в этот раз не познакомился с ней, Светина же сторона была представлена хмурым дедушкой в орденах, не запомнившимся отцом и мамой, районным врачом, доброй и миловидной, искренне готовой полюбить своего ученого долговязого зятя, но все-таки с непреодолимым изумлением смотревшей на всю эту компанию диссидентов и отщепенцев, не способных даже крикнуть «горько!» как следует.

С 1980 по 1992 год я ездил каждое лето, за исключением одного, иногда и зимою, в маленькую, теперь, говорят, разросшуюся, деревню в Латвии, одно из лучших мест на этой земле, в которое, начав сочинять роман, я поселил своего рассказчика, чтобы он там, значит, жил, и зимою, и летом и оттуда, из этого как бы абстрактного места у моря (море всегда абстрактно...), всматриваясь в некое прошлое, казавшееся ему и мне очень длинным, теперь до смешного сократившееся и все сокращающееся по мере превращения в прошлое тогдашнего будущего, описывал некую жизнь в некоем городе, городе, который я назвал все же Москвою, но – в своем стремлении к трансцендентальной ясности страшась конкретного, знаков времени и знаков судьбы – не оставил в нем ни одного названия – ни одной улицы, ни одного переулочка – точно так же, как безымянной оставил я, на тех страницах, и саму эту маленькую, за дюной, как я писал тогда, притаившуюся деревушку, почему после некоторых колебаний я оставляю ее безымянной и здесь, на этих, хотя географическое положение этой теперь вовсе уже не затерянной, по слухам, между дюнами и лесами, но давным-давно освоенной дачниками, застроенной виллами, по выходным дням вообще, говорят, переполненной крикливыми пляжниками деревни определить чрезвычайно легко – не знаю, как добираются до нее теперь, в мое время надо было доехать на электричке до станции Слока и там, на так называемом автовокзале, впихнуться в безнадежно набитый автобус и ехать вдоль моря – или сесть на автобус в Риге, автобус дальний и хороший, идущий в места неведомые, потому что тогда еще пограничные, простым советским гражданам, вроде меня, не доступные, с пленительными названиями – Роя, Колка, Мазирбе, Мерсрагс, не доезжая до них сойти, оказаться, когда звук автобуса стихнет за поворотом, в тишине, на песчаной обочине, на обозначенной лишь скамейкой и столбиком остановке. Где и оказался однажды, всего однажды, Двигубский, приехавший ко мне летом 1987 года, на один день. Он был, как выяснилось, в Риге с отцом. Куда приехали они, потому что неожиданно скончалась его рижская двоюродная тетка... сколько же у вас теток, спросил я по дороге от автобусной остановки к тому дому, в котором снимал тогда комнату. У него много теток и много дядей, двоюродных и троюродных, в разных странах и городах. Это его двоюродная тетка по отцу, двоюродная сестра Константина Павловича, передававшего мне привет и сожалевшего, что он не смог тоже приехать. Ей было уже много лет, этой тетке, она гораздо старше его отца. А вот сейчас он собирается рассказать мне кое-что... поразительное. Я обратил его внимание на аиста, одиноко и неподвижно стоявшего в своем круглом, мохнатом, с торчащими в разные стороны соломинами, гнезде, со всех сторон охваченном бледной балтийскою синевой. День был июльский, нежаркий. На краю неба, над дальним лесом, собирались и, собираясь, сияли изо всех сил, во всю отпущенную им белизну, пухлые, но не рыхлые, наоборот, какие-то на вид очень твердые, уверенные в себе облака. Эта тетка была единственным в их семье человеком вполне советским, идейным, партийным, за что он, Павел, ее с детства терпеть не мог, разумеется. *De mortibus* только bene, как все мы знаем, но все-таки ее приезды в Москву были для него мучением. А между тем она выросла в эмиграции, здесь, в Латвии, в Риге. Ее вывезли в восемнадцатом году из России ребенком. И она не нашла здесь ничего лучшего, чем обратиться в коммунистическую веру. И помогала, *sit venia verba*, устанавливать в Прибалтике советскую власть. Потом вышла замуж за партийного товарища, присланного откуда-то из-под Саратова, чтобы здесь, значит, расправляться с пережитками буржуазного прошлого, и сделала вместе с ним умеренно-удачную, марксистско-ленинскую карьеру. На старости лет читала лекции каким-то, чтобы черти разорвали их, комсомольцам. И вот мы вчера разбираем ее вещи, говорил Двигубский в необычном для него возбуждении, разбираем, знаете ли, ее вещи, в ее рижской квартире, за Даугавой, и... что же? И вот

видим, что платяной шкаф какой-то уж очень глубокий, стучим по задней фанерной стенке, понимаем, что за ней что-то есть, отрываем фанеру, и... Золото и бриллианты, спросил я. Нет, друг мой, не золото и даже не бриллианты, а книги, вот что! но какие книги? эмигрантские книги, вот какие, русские книги, изданные в эмиграции. Четыре номера «Современных записок», журнал «Путь», затем Алданов в огромном количестве, Бунин, Ремизов, даже «Очерки русской смуты» Деникина. То есть все это, изданное до сорокового года и здесь, в Риге, как вы понимаете, до сорокового же года свободно и продававшееся, она не выкинула, ни в сороковом году, когда пришли красные, ни в сорок четвертом, когда они возвратились, ни потом, ни в сорок девятом, когда за такие книги ее отправили бы прямиком в Магадан, никогда. Вы можете это объяснить или не можете? Я честно ответил, что не могу. То есть, сказал Двигубский, еще раз: вот эта женщина, преклонявшаяся перед Сталиным и презиравшая Хрущева; страшно сказать, но кого-то, может быть, и сама высылавшая в Сибирь, если не в сороковом году, то сразу после войны; эта советская тетя, всерьез пытавшаяся обсуждать со мной решения очередного съезда и постановления очередного пленума; говорившая несусветные глупости на тему о том, что вот они были энтузиасты, идеалисты, а мы, молодежь, все такие циники, ни во что не верим, раболепствуем перед Западом и слушаем ко всему прочему еще каких-то патлатых Битлов (меня всегда особенно умиляла, кстати, эта любовь к идеализму и романтические призывы в устах убежденных материалистов, реалистов, знатоков политэкономии, читателей «Анти-Дюринга»...); вот эта моя дурацкая тетка, приезжавшая к нам раз в два года, всех учившая жить, на *grande-mère* и на маму смотревшая, вытаращив глаза, как на завязтых антисоветчиц, и, чего уж ей никак невозможно было простить, крикливо болевшая за советскую команду, когда по телевизору показывали хоккей (а я, как вы догадываетесь, готов был чем угодно пожертвовать, чтобы канадцы уже выиграли, наконец, и чтобы Фишер съел всех ферзей Спасского вместе с самим Спасским и с шахматною доскою...); вот, значит, эта женщина, говорил Двигубский, все более возбуждаясь, хранит у себя целую долгую жизнь, в платяном шкафу за фанеркой, чистые, как слюда, образчики чудесной, прекрасной, обожаемой до слез белоэмигрантской литературы. А! Можете вы это понять или нет? Вы не можете этого понять, говорил Двигубский с какой-то уже почти торжествующей интонацией, не можете, и никто не может, и я не могу. В память о ком-то? предположил я. В память о родителях, в память о прошлом? В память о прошлом она хранила письма и фотографии, ответил Двигубский; кстати, интереснейшие; мы их тоже нашли. И собрание каких-то трогательных фарфоровых кособоких игрушек... И еще какие-то брошки, которых, кажется мне, сама не носила... Но книги! Книги по всем законам истмата ей полагалось выкинуть, сжечь, бросить в Двину... А для меня это подарок, сказал он с той смущенной интонацией, которая бывала ему свойственна, когда речь шла о важных для него вещах. Для меня это просто неожиданный и необыкновенный подарок, сказал он, не знаю уж, кем посланный мне и откуда... Мы дошли до той комнаты, той, точнее, мансарды, которую в то лето снимал я; пошли к морю, конечно. Какое счастье все-таки идти по этому горячему на солнце, в тени прохладному песку босиком, как нежно покалывают сосновые иглы на той тропинке, с ее наизусть заученными корнями, по которой мы поднимаемся все вверх и вверх, чтобы вдруг увидеть его, за соснами – море, тоже как будто уходящее вверх, к горизонту, или, наоборот, спускающееся оттуда, от горизонта, к нам, смертным, к полоске пляжа, окаймленной прибоем, всем своим слепящим сиянием. Мне было двадцать семь лет тогда, ему двадцать девять. Я был здесь на своей территории; я показывал ему, на своей территории, изгибы этих тропинок, перебегающих через дюны; колкую, острую, почти стального отлива, траву между дюнами и собственно пляжем; дальний мыс слева; и справа – еще более дальний; крошечные домики в соседней, за дюнами почему-то не спрятавшейся, или не целиком спрятавшейся деревушке километрах в пяти от нашей – домики, которые в ясный день видны были так отчетливо, с их плоскими крышами, каж-

дый в отдельности, как если бы кто-то нарисовал их в прозрачном воздухе, на волшебной бумаге, не в пространстве только, но во времени тоже, для меня, теперешнего, глядящего на них из невообразимого тогда будущего; колышки, наконец, оставшиеся от разрушенного когда-то, в доисторическую эпоху, причала, далеко уходившие в море, каждый колышек со своими водорослями, тоже какими-то доисторическими, колышущимися, как борода чародея, и каждый со своим отражением, вновь и вновь разрушаемым волнами, вновь и вновь, в промежутке между двумя накатами прибоя, обретающим прежние очертания; приметы и вехи моего заколдованного пейзажа. Еще, я помню, несколько раз заговаривал он, все в том же возбуждении, о книгах, доставшихся ему от коммунистической тетки, о потрясающих, в частности и как он выразился, «Картинах октябрьской революции» Алданова, которые читал он всю ночь, отчего ужасно, конечно, не выспался, среди каковых картин есть, кстати, замечательный, легкой и уверенной кистью набросанный портрет небезызвестного вам батьки Махно – Махно, говорил Двигубский, снимая, в свою очередь, ботинки, городские и не очень какие-то летние, стаскивая, соответственно, и носки, белыми, плоскими и неуверенными ступнями пробуя прохладную воду, – Махно, говорил он, которого Алданов рисует как бы на грозовом и все же слегка комическом фоне сложившихся вокруг него легенд, представляющих его прямым потомком былинных русских разбойников, Емелек и Стенек, так что в этих легендах о Махно не обошлось, понятное дело, и без персидской княжны – какой-то, с характерной поправкой на время действия, роковой еврейки Сони, бывшей, по одним сведениям, злым, по другим же, совсем наоборот, добрым гением батьки, то ли толкавшим его на добавочные зверства, то ли как раз удерживавшим от зверств... Наконец, он успокоился; посмотрел, как будто с удивлением, вокруг себя, на сосны, и дюны, и колышки; на дальний мыс слева, и справа – еще более дальний; сказал вдруг: как хорошо здесь. Чайка, по своим делам летевшая мимо колышков, в сторону левого мыса, взмахнула крыльями с той отчетливой плавностью, с той легкой замедленностью, которая свойственна всем совершенным и простым движениям в природе, с той же, с какой взлетали, бывало, его, двигубские, брови, с какой и взлетели они, конечно, когда он сказал, глядя на море: как хорошо здесь, – и как если бы его чуть вытянутые, египетские глаза были его собственным, тайным морем или отражением моря, над которым, следовательно, эти незабвенные брови и взлетали, и вновь опускались, и опять взлетали, целую жизнь. Еще двадцать лет оставалось ему на земле. В мансарде, куда мы вернулись, он попросил меня, к некоторому моему удивлению, прочитать ему что-нибудь из написанного мною за лето; из моей тогдашней, отрешенной, как море, прозы; что я и сделал (возвращаясь к теперешней) после того, как подкрепились мы местной копченой рыбешкой, местным тминным сыром и местным перцовым печеньем – чудесными созданиями латышского гастрономического гения, в те скудные годы все-таки иногда продававшимися в придорожном, плоском и пустом магазинчике. Я познакомил его со своими друзьями, как и я сам, приезжавшими каждое лето в благословенную нашу деревню; надеюсь, они вспомнят его, если будут читать эти строки. Вечером, в тех долгих северных сумерках, которые как будто и не собираются заканчиваться, так что и поверить невозможно, что все-таки наступит когда-нибудь – ночь, в этих бесконечных северных сумерках, которые все длятся и тянутся, размывая очертания предметов, деревьев, людей и мыслей, розовой, и красной, и фиолетовой, и затем уже только сизой сужающейся чертою медля на западе, над дальним, уже черным лесом, из-за которого, смутно серея, выбегало шоссе и должен был выехать, но упорно не выезжал потерявшийся, очевидно, в этих сумерках последний автобус, – вечером, теряясь в этих сумерках тоже, мы снова стояли на обозначенной скамейкой и столбиком остановке, и он сказал мне, я помню, что прекрасно меня понимает и что если бы я нашел подходящее жилье, он и сам приехал бы сюда следующим летом вместе со Светой и Оленькой на месяц, почему бы и нет, и я сказал, что, конечно же, поищу для них комнату или две, уже знаю, у кого спросить и как действовать, и, конечно же, он не приехал ни на

другой год, ни через два года; и когда автобус, выплывший из уже почти темноты, в темноту же и удалился, его задние красные фары, еще долго различимые среди ночи, казались последними, уже самыми последними отсветами уже погасшего, почти погасшего, совсем погасшего, над дальним лесом, заката. Все это теперь для меня цитаты – из другого текста, из другой жизни.

20

После его возвращения из Ленинграда, женитьбы, рождения дочери мы стали реже с ним видаться, реже звонить друг другу; таких проведенных вместе дней, какие бывали в начале восьмидесятых годов и бывали потом в эмиграции, в конце девяностых и начале двухтысячных, в Гейдельберге или в Дижоне, – таких дней в конце восьмидесятых годов я (за одним, во всяком случае, исключением, о котором чуть ниже) не помню; просматривая теперь мои дневники того времени, почти не нахожу в них упоминаний о встречах с Двигубским, из чего не следует, что этих встреч не было, но следует, что я не считал нужным упоминать о них. А впрочем, я очень мало значения придавал в ту пору внешней жизни, как я называл ее, происходящему вокруг меня, до некоторой степени даже и происходящему со мною самим; мне важна была только моя внутренняя, подлинная, как мне казалось, несомненно моя и настоящая жизнь, все решительнее сводившаяся к писательству, к успеху или неудаче этого писательства, как будто отменявшего все прочие тревоги и обстоятельства, и не только тревоги и обстоятельства внешние, но до некоторой степени, как сказано, даже и внутренние, замененные тревогами сочинительства, возможностью, или невозможностью, дописать до конца вот эту фразу, вот эту страницу. Были благословенные дни в конце августа 1986 года, в балтийской моей деревне, уже покинутой друзьями и дачниками, когда осень вдруг словно распахнула пространство, раскрыла округу, желтыми, красными флажками и указателями разметила превращенный в ландкарту ландшафт, и в моих фразах тоже вдруг что-то распахнулось, раскрылось, в прозрачном воздухе, в солнечной тишине, шаги по листьям слышались в них, шорох листьев между запятой и тире, шепот осени между точкой и точкой, и далеко-далеко стало видно с до той поры не ведомых мне холмов. Где-то (irgendwo) есть застарелая вражда между жизнью и большой работой, сказано у Рильке. Тот, кто живет, не работает, говорит Томас Манн, писатель, в сущности, должен как бы уже умереть, чтобы вполне быть творцом (um ganz ein Schaffender zu sein...). Нужно выбирать между совершенством жизни и совершенством в работе (perfection of the life, or of the work), пишет Йейтс. Максимы нашей молодости, от которых мы не отказываемся... Так называемой перестройки я постарался вообще не заметить. В конце концов, говорил я смеявшемуся в ответ Двигубскому, я никого не просил возвращать меня обратно в историю, мне было и без истории хорошо. Мне это вневременное существование даже, если хотите знать, нравилось. Ведь это же была почти вечность. Никакого времени, только пространство. В котором у каждого из нас был свой угол. Сиди в своем углу и тихо занимайся чем хочешь. Нет, придумали перестройку, не дают роман дописать... Смешно и даже немного стыдно признаваться теперь, но вся эта, действительно, перестройка, и вся эта даже гласность, не говорю уж об ускорении, эти какие-то съезды каких-то советов и депутатов, эта закулисная борьба между светлыми силами реформаторов и ненавистными силами реакции, все эти Лигачевы, Слюньковы и Чебриковы, и даже эти публикации в «Огоньке» и «Московских новостях», эти разоблачения сталинизма, про который мне все было и так понятно уже в детском саду, эти первые робкие попытки замахнуться на Ленина, которого я ненавидел с пеленок, – все это было для меня какой-то внешней, случайной, назойливой чепухой, никак, ни в малейшей мере не затрагивавшей моей внутренней, меня самого. У меня был план в жизни, сводившийся к простой формуле: написать роман и уехать. Напечатать его в Совдепии не представлялось

мне, конечно, возможным, но написать его следовало все же в России, в покое привычной, хотя и убогой жизни – чтобы затем уже выйти в широкий мир и начать жизнь действительно новую, которая, полагал я, могла, особенно поначалу, и не оставить мне времени на писательство. Собственно, этот план с поправкой на разные случайности, все-таки не позволившие мне закончить мой упорно разраставшийся опус в России, и привел меня впоследствии в эмиграцию, как если бы жизнь получила некое направление, которое уже не могла, как и я не мог, изменить, уже пошла по определенному пути, не в силах сойти с него, взяла разгон и приготавилась прыгнуть или, воспользуемся другим сравнением, бежала уже по инерции, не глядя по сторонам, не обращая внимания на то, что совершалось слева от нее, что творилось справа. Потому открывшаяся вдруг возможность поехать, например, за границу – и вернуться, просто съездить в Париж – и вернуться, воспринималась мною, смешно и стыдно вспомнить, опять-таки, чуть ли не как некое досадное недоразумение, сбой моих замыслов, нарушение той чистой схемы, по которой я жил, что, впрочем, не помешало мне (все мы сотканы из противоречий, как все мы уже и заметили...) тут же, едва лишь первые дыры образовались в проржавевшем железном занавесе, отправиться (осенью 1988 года) в большое, первое и, конечно, самое лучшее, в такой первозданной свежести уже никогда не повторившееся путешествие по Франции и Германии. Двигубский в это время участвовал в создании «Мемориала» и публиковал статьи о русской истории в тех же «Московских новостях», в «Новом мире» и «Знамени», в ленинградской «Звезде» и в рижском журнале «Родник». Конечно, сказал он мне как-то, вы, житель очарованного острова, с Калибаном и Ариэлем... кто Калибан, кто Ариэль? – вставил я... конечно вы, продолжал он, на вашем очарованном острове видите все по-другому, смотрите издалека. А я живу здесь, на материке, в этом месте и в это время, и то, что здесь происходит, напрямую меня касается... В статьях своих он писал о неудаче либеральных реформ, Александровской и Столыпинской, о том, что в русской истории постоянно взаимодействуют, вернее – борются друг с другом, две, как выражался он, парадигмы, парадигма, скажем так, европейская, восходящая прежде всего к Великому Новгороду, и парадигма ориентальная, роковое наследие Золотой Орды, передавшей свой злосчастный тип государственности Московскому великому княжеству, затем царству, затем Петербургской, с некоторыми оговорками, империи, затем дальше... читатель прекрасно понимал, куда дальше, точнее, что дальше некуда... писал, развивая свою мысль, что примерно два раза в столетие Россия имеет шанс из этой ориентальной, татаро-монгольской, подавляющей человека парадигмы, наконец, выскочить, от гипертрофированной государственности уйти к гражданскому обществу, но всякий раз останавливается, к несчастью, на полдороге, задумывается, оглядывается, колеблется, начинает вновь и вновь мечтать о своем особом пути, противопоставлять себя разлагающемуся якобы Западу, вообще чудить и куражиться – и в конце концов поворачивает обратно к будто бы сияющим, на самом деле зловещую тень бросающим на всю нашу жизнь куполам и вершинам исторического псевдовеличия. Если мы не уйдем от них на этот раз, то следующего шанса может уже и не быть... На письменном столе у Двигубского лежала теперь не одна какая-нибудь советская газетенка, но все выраставшая, с каждым из нечастых моих посещений, начинавшая уже крениться и расплзаться кипа перестроечных публикаций, соревновавшаяся в силе и росте со стопкой книг на дальнем, у окна, конце этого к стене по-прежнему (с портретом Ключевского) приставленного стола, книг, среди которых выделялись, и мне запомнились, пожелтевшие тома «Архива русской революции» (1921–1937), не помню, доставшиеся ли от пресловутой рижской тетки (скорее всего...) или привезенные им, с бесстыдным пренебрежением к таможене (книгами в ту пору уже, впрочем, переставшей интересоваться, но интересовавшейся исключительно предметами возможной спекуляции, синтезаторами фирмы Yamaha и магнитофонами фирмы Sharp) из его собственного первого заграничного путешествия (в Англию, в 1989 году); «Архива русской революции», говорил он, без кото-

рого, занимаясь сей страшной эпохой, обойтись вообще невозможно, он же, Двигубский, говорил он, отвечая на мой вопрос, не только продолжает заниматься ею для себя, что бы сие ни значило, но и пишет, вот как раз сейчас и сегодня, большую статью о белом движении и причинах поражения оно́го, каковы́е причины перечислить, конечно, не трудно, будь то причины социальные, национальные или чисто военные, но говоря о которых, вот в этой, к примеру, для «Вопросов истории» предназначенной статье, он, Двигубский, старается и все-таки по-настоящему не может увидеть еще нечто... самое важное, может быть... что же? А вот просто увидеть, как это было, сказал он, взмахнув своими бровями, взлетевшими в очередной раз над морем, отраженным в его глазах. Вот причины войны, вот причины поражения... Цели воюющих сторон и так далее... Все это, конечно, так, но всего этого ему недостаточно. Что-то самое главное пропадает. Как это было? как пахло? – говорил он, передавая мне один из широких томов «Архива», заложенный, если память меня не подводит, на вот этом месте из воспоминаний генерала А. С. Лукомского (сверяю теперь, понятное дело, по тексту), относящемуся к большому наступлению на Москву 1919 года: «В октябре был занят Орел. Но наряду с успехами на фронте из тыловых районов армии все чаще и чаще стали поступать сведения о возрастающем неудовольствии среди крестьян и рабочих. Неудовольствия и возмущения крестьян происходили вследствие участвовавших случаев бесплатных реквизиций, грабежей и поддержки войсками помещиков, вымещавших на крестьянах свои потери и убытки. Неудовольство рабочих объяснялось главным образом тем, что приход Добровольческой Армии не улучшал условия их жизни, которые становились все более и более трудными». Все это только слова, а как это выглядело?.. А вот, сказал П. Д., отбирая у меня книгу, вот, в том же томе, «Доклад Центрального Комитета Российского Красного Креста о деятельности Чрезвычайной Комиссии в Киеве», составленный, разумеется, после освобождения Киева от большевиков Добармией со слов сестер милосердия, все-таки еще допускавших в то время в чекистские тюрьмы, вот, попробуйте себе это представить, сказал он, цитируя, если, опять-таки, память меня не подводит, вот это место (и его я сверяю теперь, понятное дело, по тексту): «Как и большинство сотрудников Ч. К., Терехов не мог жить без кокаина. Кокаинистом был и комендант Михайлов. Тоже молодой, стройный, с усиками, холеный и франтоватый. Одетый по моде нарядного красного офицера. На груди у него красовалась красная звезда и другие знаки отличия советской армии. Все отличной ювелирной работы. Михайлов был комендантом Губернской Ч. К., которая помещалась в Генерал-Губернаторском доме. В лунные, ясные, летние ночи он выгонял арестованных голыми в сад и с револьвером в руках охотился за ними». Советую вам когда-нибудь почитать сей «Доклад», Макушинский, говорил он, перелистывая этот, теперь я знаю, что – шестой, том «Архива» своими длинными пальцами. Почитайте, полюбу́йтесь на замечательные типы палачей, здесь выведенные. Это «когда-нибудь» наступило только сейчас; «Архив», как выяснилось, весь целиком есть в нашей университетской библиотеке. Не могу удержаться, чтобы не выписать хотя бы еще два места: «Авдохин был среднего роста, толстый, приземистый, коренастый, почти атлет, с большой четырехугольной головой. У него было отекавшее лицо, нависшие брови, спускающиеся на маленькие, бегающие глаза, не смотревшие на собеседника. Его глаза бегали, бегали, точно выискивали. С невольной тревогой следили арестованные за этими глазами. Вот-вот они остановятся и обожгут намеченную жертву. Авдохин всегда находился в состоянии непрерывного жестокого и сладострастного возбуждения. Как и другие коменданты, Авдохин любил франтить. Каждый день он появлялся в новом туалете, иногда в матросском, иногда в штатском. Все на нем было с иголочки, новенькое. На коротких толстых пальцах горели драгоценные камни. Трость была украшена серебряным набалдашником. Авдохин был и пьяница, и кокаинист. Окруженный женщинами, нарядными, в перьях, с браслетами и цепочками, катался он по городу, устраивал вместе с другими в домах в Липском переулке, где жили комиссары, буйные праздни-

ства. Этого развратного, преступного матроса, для которого в мире не было ничего святого, его товарищи комиссары считали даже добрым. На самом деле это был разбойник, пугачевец, в котором стихийное, зверское начало чудовищно переплеталось с социалистическим налетом. Ему было приятно быть щедрым. Увидел, что у санитаря нет сапог, – велел дать. Товарищи не без гордости говорили: Мишка – он у нас добрый. А Мишка в ту же ночь опять расстреливал заключенных». А вот потрясающая история двух братьев Асмоловых, один из которых «был высокий матрос с бритым лицом, похожий на англичанина, одетый то в щегольскую матроску и рубаху, то в штатское, тоже щегольское. Всегда спокойный, он творил свое дело с холодной уверенностью. Эта уверенность красных палачей, отсутствие в них даже тени нравственного отвращения к преступлению больше всего терроризировала заключенных». Брат же его как раз и был заключенным. «Живой, всегда веселый, ко всем внимательный и ласковый, арестант Асмолов был любимцем тюрьмы, которая ценила в нем прирожденное благородство. Он всегда был чем-нибудь занят, плел какие-то колечки, раздавал их своим товарищам. Танцевал, пел. В самые тяжелые минуты умел поддержать, подбодрить, даже примирить осужденных со смертью. Он был большевик. Сестра так и не поняла, в чем его обвиняла советская власть. Раз сестра его спросила: Неужели ваш брат не мог похлопотать за вас?.. Молодой человек вздрогнул, выпрямился и с негодованием сказал: «С братом у меня нет ничего общего. Он палач». – Асмолова расстреляли. В тюрьме говорили, что он умер героем». Так-то, говорил, в свою очередь, Двигубский, откладывая, наконец, книгу, глядя в окно, где высокие тополиные кроны колебались в бледном и чистом небе, и детские крики долетали сквозь открытую форточку, мешаясь с испуганным гульканьем голубей, стуком футбольного мяча о невидимую какую-то стенку, дальним, с улицы, шумом машин и тем общим гулом, которым город всегда сообщает о своем присутствии за углом наших разговоров, за краем мыслей. Оставляя Двигубского писать эту ли, другую статью, уходил я, почти в каждое из моих посещений, к Константину Павловичу, с которым в эти годы у меня окончательно сложились свои, отдельные от П. Д., отношения. Именно ему, не П. Д., вот что удивительно теперь для меня, читал я время от времени куски понемногу складывавшейся и находившей себя моей прозы (в которой ни о каких Авдохиных, ни о каких Асмоловых еще и речи не было, не могло быть...); пару раз, я помню, приезжал к нему с рукописью, один раз даже в отсутствие его старшего сына, улетевшего на конференцию в Штаты; замечания его были для меня драгоценны. Света, как и Елена Сергеевна, как и в 1986 году появившаяся на свет Оленька, все они присутствовали при этом где-то на заднем плане, в дальней комнате, в глубине коридора; и что-то было трогательно-патриархальное в этом укладе их дома, в этой незримости женщин, неизвестно чем занимавшихся в своем гинекее, появлявшихся, когда Константин Павлович объявлял, наконец, что пришла пора ужинать, после ужина опять исчезающих. Света, потолстевшая после родов, ходила тихо, тихо улыбалась чему-то, поглощена была дочкой, изредка, поднимая голову, бросала на мужа то восхищенные по-прежнему, то какие-то загадочные, кошачьи, не понятные ни мне, ни, наверное, ему самому взгляды, те непроницаемые женские взгляды, в которых мужчине всегда видится какое-то смутное и ничем, конечно, не оправданное сознание женщиной своего превосходства над ним, надуманного превосходства цельности над раздвоенностью и природы над мыслью. В редких семейных спорах, которым я был свидетелем, всегда становилась она на сторону Елены Сергеевны. Марина к тому времени уже вышла, кажется, замуж. Сережа, уже взрослый, окончивший физико-математический факультет университета, без всякого, впрочем, интереса к математике или физике, был, как и раньше, угрюм, думал о чем-то своем, смотрел презрительно, готовился к будущему богатству.

В Париже осенью 1988 года я встретился с моей тогдашней немецкой подругой, Марией, с тех пор и уже давным-давно переселившейся в Калифорнию; когда она уехала обратно в свой Фрейбург, я решил, что мне тоже туда надо, потому что надо к ней и надо в Германию, и получивши визу в немецком консульстве где-то возле Елисейских Полей (тогда еще нужна была, разумеется, виза), отправился, поскольку намерянные в России, хотя и намерянные еще по советскому, то есть фиктивному, то есть необыкновенно выгодному для меня курсу, деньги уже все-таки неотвратимо заканчивались, а железнодорожный билет стоил дорого, на заранее найденной попутной машине (как это в Германии очень, во Франции же не очень принято, так что фирма, подыскивающая попутные машины для бедных путешественников и, соответственно, попутчиков для небогатых водителей, желающих возместить хотя бы часть бензинных расходов, оказалась маленькой, насквозь прокуренной комнатой в глубине очень длинного, темного, продымленного пассажа где-то в районе Восточного вокзала, Gare de l'Est, пассажа, который с тех пор ни разу, ни в один из моих последующих приездов в Париж, не попадался мне или, вернее, в который ни разу больше не попадал я сам; мне, впрочем, там и нечего было делать) – на попутной этой машине, крошечном старом «Рено», принадлежавшем французской, немолодой, грустно-интеллигентной художнице, в сопровождении своего симпатично-неразговорчивого мужа ехавшей во Фрейбург устраивать выставку, – отправился, значит, во Фрейбург – слово, которое немцы, и некоторые немцы тоже, произносят, конечно, как Фрайбург, но писать его через «а» я отказываюсь, как отказываюсь и писать Хайдельберг вместо Гейдельберга, потому что есть, в конце концов, какие-то дорогие сердцу традиции, которые нельзя просто так отдавать на растерзание современному варварству, современному всемству, о чем, я помню, мы среди прочего и говорили дорогой, из Парижа, следовательно, во Фрейбург (через е, через е...), причем спутники мои Фрейбург называли, конечно, Фрибуром, предлагая не путать его с Фрибуром швейцарским, Гейдельберг же превращали во что-то вроде Эйдельбера, и ничего плохого во всем этом, решили мы, нет, так что пускай Хайнрих Хайне остается в России Генрихом Гейне, а во Франции превращается в Анри Энь, и больше я почти ничего из нашего разговора не запомнил, запомнил только туман, сопровождавший нас почти всю дорогу, все время, так что той Европы, которую я так надеялся по дороге увидеть, я не увидел, увидел от всей Европы только мокрые ветки деревьев, время от времени возникавшие из тумана, и какие-то грустные, с трудом прорезавшиеся из тумана холмы, и мерцание тумана в низинах, его смутное, сумрачное свечение, и в городе, кажется, Селеста, в Эльзасе, мы выпили кофе на главной, заброшенной площади, в еще типично французском кафе, одном из тех, где местные, наизусть друг друга знающие мужчины пьют кофе у стойки, где в обед можно съесть классический бифштекс с картошкой фри, а в остальное время в лучшем случае запеченный сэндвич с сыром и ветчиной, называемый почему-то *stocque-messieur*, каковое название кажется мне самым лучшим в этом нелучшем создании французской кухни – замечание, вдруг вызвавшее приступ хохота у моего до сих пор неразговорчивого спутника, так что он долго тряс своим округлым, каким-то скромным, как часто бывает у немолодых французов, животиком, и весь остаток пути, перегнувшись ко мне с переднего сиденья (машину вела она), продолжая посмеиваться, расспрашивал меня о моих, в ту пору еще совершенно не определившихся планах на будущее, и когда мы приехали, наконец, во Фрейбург, там был первый в том году снег, первые пятна снега, лежавшие на холмах, и какой-то другой, зимний воздух, и высаженный моими под конец пути уже как бы окончательно полюбившими меня спутниками у вокзала, я долго, я помню, не мог справиться с немецким, новым для меня телефоном-автоматом в желтой будке, и когда, наконец, справился, долго боролся с автома-

тической камерой хранения на вокзале, менял деньги в газетном киоске, добывая монету, которую надо было опустить в щель свободного ящика, чтобы, положив туда вещи, вынуть длинный, черный ключ с приделанной к нему помятой, желтой биркою номера, – справившись, наконец, со всем этим, пошел в город, навстречу Марии, то и дело поднимая голову, чтобы посмотреть на снежные пятна среди темных сосен на отовсюду, за разными поворотами, открывавшихся мне холмах, и тут же голову опуская, удивляясь воде, бегущей, журчащей вдоль всех тротуаров, по нешироким каналам – канавам? – ледяной и чистой на вид, не городской, но горной, как будто откуда-то издалека, из Шварцвальда, если не Вогезов, сюда притекшей, здесь и оставшейся, и дойдя до собора, готической своею громадой вставшего в снежно-темное небо, вдруг, не знаю уж, какому наитию повинуюсь, взял и позвонил из очередной желтой будки – в Москву, за баснословные деньги по тем временам, сначала маме, не дозвонившись ей – Двигубскому, которому ни разу не звонил из Парижа, сообщив ему, что – вот, стою сейчас во Фрейбурге, глядя на собор из окошка телефонной будки, что здесь всюду течет вода, воздух горный и чистый и что я бы очень хотел, чтобы он, Двигубский, все это когда-нибудь тоже увидел; он сказал, я помню, в ответ, по голосу – нисколько не удивившись, что наитие мое правильное, очень правильное наитие, Макушинский, поскольку его дедушка, отец Константина Павловича, во Фрейбурге когда-то учился, году, кажется, в одиннадцатом или двенадцатом, затем, сделавшись советским ученым и романтиком индустриализации, несколько раз бывал в Германии, и в частности во Фрейбурге, в двадцатые годы, о чем он мог бы, если бы я захотел, рассказать мне подробнее, о чем он сейчас рассказывать, конечно, не будет, чтобы не тратить мои драгоценные марки и пфенниги; как бы то ни было, о бегущей вдоль улиц воде он слышал еще в детстве от своего отца, передававшего ему как бы в наследство дедушкины рассказы. Мой второй звонок Двигубскому я тоже помню отчетливо. Уезжая из Фрейбурга вместе с Марией и тоже на попутных машинах в Мюнхен, я позвонил ему, сам не знаю, опять-таки, почему и какому наитию повинуюсь, из того же автомата, той же будки возле собора. На этот раз он сообщил мне о землетрясении в Армении, случившемся в тот день утром, о том, что подробности пока не известны, но что счет жертв идет уже, похоже, на тысячи; затем, помолчав в трубку, добавил, что после Чернобыля и трех лет еще не прошло и что жизнь вообще состоит, очевидно, из сплошных бессмысленных катастроф.

22

Мы теперь опишем день встреч (как впоследствии назвал его П. Д.), случившийся, если память не изменяет мне, вскоре после моего возвращения из этого первого путешествия, в самом конце 88-го или скорее в самом начале 89-го года; зимний, следовательно, пред- или скорее посленовогодний, совсем не холодный, наоборот, весь текущий, капающий и тающий день, начавшийся с нашей собственной встречи в метро, на станции, помню точно, но не помню почему именно, «Кропоткинская», этой всегда по московским меркам безлюдной, египетской станции, перевернутым, следовательно, пустычком пирамид, как выразился Двигубский (всегда, в общем, смотревший вокруг и думавший о том, что видел, в отличие от меня, метро, например, в ту пору просто не замечавшего, и даже старавшегося не замечать, как и все прочие советские, архитектурные, в частности, реалии; я, повторюсь, жил тогда в совсем другом, совсем своем мире) – и вряд ли, Макушинский, вы станете отрицать символический смысл того обстоятельства, что в египетском стиле построена именно эта станция, первоначально призванная служить вестибюлем так называемому Дворцу Советов, главной пирамиде коммунизма, почему сама станция до 1957 года так – Дворец Советов – и называлась, и лишь когда стало ясно, что главную пирамиду, с гигантской статуей Ильича, исчезающей в облаках, на месте храма Христа Спасителя возвести не удастся, была почему-то

переименована в честь знаменитого, никем не читанного анархиста, Ильичом отправленного на старости лет в город Дмитров, где он вскоре и умер. Тут я вынужден был признаться, что в проектировании пресловутого бассейна «Москва», испускавшего пар свой и скрытого им как облаком на месте взорванного храма и непостроенной башни, участвовала моя родная тетя, к тому времени уже покойная, сестра моего отца...; ответная его реплика (навсегда) потонула в восклицаниях «Паша, Паша!», щебетаниях и объятиях (куда же ты пропал? почему никогда не звонишь?) двух, как мне показалось, очень хорошеньких, одна другой краше, девиц, оказавшихся сокурсницами Двигубского по историческому факультету – одна из них, как он выразился, когда они сели в свой поезд и щебетанья закончились, комсомольская сволочь, а другая ничего, просто девушка из провинции, не из Дмитрова, а, если не путает он, из Рыбинска. В которую из них вы были влюблены? Ни в ту и ни в другую, сказал он. В третью, он улыбнулся, их подругу. Которой, увы, с ними не было. Которая вышла замуж за швейцарца и живет в Лозанне; пойдемте. На Гоголевском бульваре, куда вышли мы из раковины метро, первый, кто встретился нам, был Ика, художник Ика, уже, как выяснилось, ни Двигубским, ни мною несколько лет не виданный, мною, может быть, года с 82-го или 83-го, персонаж нашей юности, такой же арапообразный, с оттопыренными губами и неожиданной сединой, пробивавшейся в его курчавых и густых по-прежнему волосах, не прикрытых шапкой, как если бы эта зима с черными сучьями деревьев и легким, над ветками, небом была не в Москве, а в Париже, куда, как он сообщил нам, скользя по снегу, он намерен скоро отбыть, опять отбыть, как жаль, что мы с ним не встретились там. У него будет выставка, завтра вернисяж, он надеется нас там видеть. Да, завтра, в четыре. В клубе фабрики «Металлург», доедете до метро «Электrozаводская», оттуда на автобусе, пять остановок. Далековато от Парижа, заметил Двигубский. Ика расхохотался. Причуды нашей жизни, сказал он. А вы что поделяваете? Что мы поделяваем, явно не интересовало его, он спешил, перепрыгнув через бульварную решетку, исчез он в Сивцевом Вражке. Из моих же рассказов о Париже и прочем Двигубского, хорошо это помню, почему-то больше всего заинтересовал эпизод с автостопом, туманная поездка из Парижа во Фрейбург, о которой я сам вспоминаю теперь, как о чем-то не со мною, не совсем со мною случившемся, или как о чем-то, случившемся со мною во сне, в полусне, в туманной и полуснежной дремоте. Петр Федоров возник перед нами на Арбатской площади возле «Праги», на спуске в подземный переход, напротив метро и кинотеатра «Художественный»; и его тоже я пару лет перед тем не видал; Двигубский, когда и с ним мы расстались, сообщил мне, что и он, в свою очередь, после возвращения из Ленинграда, стал гораздо реже с ним видаться, хотя и перезванивается с ним с известной регулярностью. Петр Федоров смотрел, как всегда, молодцом, одет был во что-то очень дутое, очень американское, на ногах имел модные тогда, тоже дутые, тоже американские, огромные сапоги, так называемые монтаны, или муны, напоминавшие в самом деле те, в которых Нил Армстронг высаживался на луну; что Двигубский тут же ему и заметил. На это Петр Федоров, спускаясь вместе с нами в подземный переход, рассказал от кого-то слышанную им историю о посещении Армстронгом, вскоре после его лунной экскурсии, советского поселка для космонавтов, так называемого, соргу, Звездного городка, где ему, Армстронгу, с большой pompой показывали разные достижения социализма вроде теплоцентрали, детского садика и новой столовой, он же, Армстронг, все это вежливо осматривал, ходил-ходил, слушал-слушал, наконец, возвел очи горе и проговорил со страданием в голосе: But I have been on the Moon! Способность Двигубского хохотать и сгибаться была на весь длинный, двоившийся, тогда еще безларечный подземный переход продемонстрирована. Было так или не было, он не знает, что до него, Петра Федорова, то он уезжает на полгода в Америку, конкретно в Гарвард, вот так-то, получил там стипендию для стажировки, и если будет защищать докторскую, вернувшись, то лишь затем, чтобы немедленно превратить ее в Ph.D. Поведай нам, Ph.D, что у нас впереди, не удержался я от экспромта. Vperedee, ска-

зал Петр Федоров, у нас концерт Ростроповича в Большом зале консерватории. На этом мы с ним расстались. Следующим номером была Люда-холера, выплывшая из небытия посредине Суворовского бульвара, между Арбатскими и Никитскими Воротами, следовательно. Становится все интереснее, шепнул мне Двигубский. Люда-холера в долгие разговоры пускается не стала, но тут же попросила в долг пять рублей, лучше десять, до завтра. До какого завтра? спросил Двигубский. До такого завтра, бя, которое не наступит. Ну хоть трешку-то дайте, мать вашу. Трешку мы ей дали, конечно. Выглядела она страшно, одета была во что-то рваное, как бы еще хипповое, но уже на полпути к лохмотьям просто, к обычной, подземно-переходной беде; глаза были мутные, обкуренные, совершенно несчастные. Кто следующий? Следующий долго не появлялся. По Тверскому бульвару бежали какие-то особенно звонкоголосые дети, кричали вороны, откуда-то, к изумлению нашему, послышалось вдруг фортепьяно, как оно слышится, бывает, в каком-нибудь переулке, заставляя нас замирать и вздрагивать, обрывая привычный бег разбросанных мыслей, но никогда, потому что неоткуда, не слышится на бульваре, конечно. Наверное, радио, сказал Двигубский, наверное, Моцарт... Я вспомнил, я помню, то место в начале первой Дуинской элегии, где не фортепьяно, но скрипка, из открытого окна, *gibt sich hin*, как перевести это? не отдается же, в самом деле. Он любил Рильке и цитату узнал не задумываясь. *Das alles war Auftrag. Aber bewältigtest du's?* проговорил он; брови его, под мохнатой шапкой, взлетели. А все это и есть задание, сказал я, переходя на свою территорию, и эта неизвестно откуда звучащая музыка, и это легкое небо, эти редкие сизые облака, это сплетение черных веток, даже эти лужи, сказал я, этот хлопкий снег с отражениями облаков, все это есть задание, с которым мы не справляемся, задача, которую не можем мы выполнить, призыв, на который мы не в силах ответить. И я все время об этом думаю, об этом пишу... А я знаю, ответил он, улыбнувшись, по тем немногим кускам, которые вы мне читали. Боюсь, что справиться с заданием и вправду невозможно; никто не справляется; жизнь есть принятое поражение, *une défaite acceptée*... Это откуда? Это из Юрсенар, сказал он; затем, быстрый взгляд бросив на ту, теперь мокрую, скамейку, где он когда-то рассказывал мне о своем предсонном видении, вспомнив или не вспомнив о нем, я не знаю, заговорил о вычитанной им в каких-то очередных эмигрантских воспоминаниях, изданных в Таллине и доставшихся ему от пресловутой рижской двоюродной тетки, истории царя Ивана Гордиенко. Кого?! Ивана Гордиенко, «царя Глинского и всея правобережной Ворсклы», да-да, представьте себе, был такой. На берегах реки Ворсклы, где я не бывал и вы, наверное, не бывали, а побывать бы стоило, поскольку река эта, протекающая через Полтаву, была как-никак свидетельницей величайшего сражения в русской истории, той самой битвы на Ворскле 1399 года, в которой войска Золотой Орды, возглавляемые знаменитым темником Едигеем, ее, Орды, фактическим главою, разбили наголову литовского Великого князя Витовта, союзных с ним русских князей – «ни Чингисхан, ни Батый не одерживали победы совершеннейшей», замечает в своей «Истории» Карамзин, – а заодно и перебежавшего к литовцам Тохтамыша, впоследствии убитого Едигеем, которого, в свою очередь и в дальнейшем последствии, убил один из сыновей Тохтамыша... После этой битвы, скажу вам по большому секрету, у Литвы уже не было шансов объединить Русь, злосчастное наше историческое развитие окончательно свернуло на роковую московскую дорожку, прямо из Орды в коммунизм... с Петербургским интермеццо, конечно. Мы же сами вышли тем временем на ту широкую открытую площадку, которой заканчивается бульвар, перед самой Тверской, тогдашней улицей Горького; напротив, у «Московских новостей», чернела, как обычно, толпа, читающая вывешенный за стеклом последний номер подрывного еженедельника. Оттуда-то, прочитав очередную, разрушающую его привычные представления статью, и шел, как выяснилось, средних лет, небольшого роста, в зимней куртке с меховым капюшоном и откровенно обыкновенным, озабоченно напряженным, как почти все советские лица, лицом, человек, которого Двигубский, оборвав свой рассказ, искоса взглянув на

меня из-под своей косматой шапки и взлетевших бровей, как бы призывая меня в свидетели, что, мол, я говорил, но и призывая меня вместе с ним изумиться, окликнул: Юрий, кажется, Алексаньч. Ах, Павел, это ты? сказал тот. Как поживаешь? Да ничего, сказал Двигубский, да, хорошо. Не женился? спросил тот. Женился. Дочке уже три года. А вы-то как? А что я? – сказал тот. Вот, хочу Сашины стихи издать, наконец. Где? Не знаю, может, ты знаешь? Носил в журналы, никто не берет... В руках у него был квадратный твердый портфель, так называемый «дипломат», с какими еще многие ходили в ту пору; он постучал по нему указательным пальцем сжимавшей ручку бесперчаточной и покрасневшей руки. Ну, прощай, Павел, бывай. Мы шли молча по улице Горького, толкливой и грохочущей, как всегда, с мокрым месивом под ногами. Это отец моего школьного приятеля, сказал Двигубский, погибшего в десятом классе. Погибшего? Погибшего, покончившего с собой. Или убитого. Так никто до сих пор и не знает... Историю царя Глинского, впоследствии, спустя вечность, пересказанную мною в память о Двигубском в моем отчете о Елецком путешествии 2007 года, он несколько раз, я помню, в тот день принимался рассказывать, на Тверском бульваре, на улице Горького, в том, наконец, кооперативном, как это называлось тогда, кафе возле гостиницы «Метрополь», куда мы зашли пообедать. На реке Ворскле, следовательно, в 1919 году жил, в селе Глинске, некий зажиточный, как сообщают источники, хуторянин по имени Иван Гордиенко. Теперь вопрос, какой это Глинск, сказал Двигубский, бросив быстрый взгляд в сторону магазина «Академкнига», куда, конечно, и он, и я всегда заходили, если оказывались рядом; в этот раз не зашли. Я смотрел на всех картах, какие у меня есть, говорил он, и никакого Глинска на реке Ворскле не обнаружил. Есть Глинск западнее, на реке Суле, и если это тот Глинск, то это вообще поразительно, потому что это тот самый Глинск, из которого – Глинские, и среди них, понятное дело, Елена Глинская, мать Ивана Грозного, вторая, как вы прекрасно помните, жена Василия Третьего, взятая им, сказал Двигубский, своей длинной и не очень хорошо привинченною рукою указывая куда-то влево, через улицу Горького, в сторону Богородице-Рождественского монастыря, в ту пору еще остававшегося развалинами, сараями и помойками, после развода с Соломонией Сабуровой, матерью мифического Кудеяра, любезного нашему сердцу. С этим Кудеяром у вас прямо какие-то личные отношения, сказал я. Вот в этом-то, значит, Глинске, или все же в каком-то другом и соседнем, жил очередной Кудеяр, по имени Иван Гордиенко. Глинск же, ясное дело, переходил из рук в руки, от одной банды к другой. К весне 1919 года зажиточному хуторянину Ивану Гордиенко все это, наконец, надоело. Что же он сделал? А взял и собрал свою собственную банду, так-то, и всех прочих прогнал к чертовой бабушке. Освободил и еще пару сел, среди них некое село Опошня, в самом деле лежащее на реке Ворскле, объявил себя, прошу заметить, верховным комиссаром и начал, значит, освобожденными своими землями править, навел, похоже, даже нечто вроде порядка, хотя порядка на Руси, как известно, не водится. Недолго, однако, пробыл Иван Гордиенко верховным комиссаром, а решил венчаться на царство. Здесь, в сущности, следовало бы уже перейти на стихи, но я продолжу, если вы не возражаете, прозой. Заявился со своими молодцами в опошненскую церковь, приставил наган к виску местного священника и потребовал, чтобы тот короновал его. Каковая коронация и совершилась при огромном стечении народа, под перезвон всех имевшихся в наличии колоколов... Тут я начал, понятное дело, смеяться, Двигубский тоже. Затем, сказал он смеясь, происходит самое трогательное. Царь Иван решает, что жена его, простая крестьянка, не отвечает более царскому его достоинству. Все того же священника, угрожая все тем же наганом, заставляет он себя с женой развести и обвенчать – с кем? – а с местной учительницей, вы перестанете хохотать или нет? да-с, с местной учительницей, воплощавшей, я так полагаю, высшее начало в системе его мироздания. Учительницу, скорее всего, никто и не спросил, желает ли она становиться царицей. Отныне царствуют они вместе. По царству своему разъезжают, как в моем источнике сказано, в коляске, запряженной четвериком, вместо корон украшенные свадебными венцами,

взятыми из церкви. При этом сами они в церковь уже не входили, но – вносили их, в бархатных креслах. И слава, конечно! Слава о нем гремит на всю округу. Диканька, та самая Диканька, между прочим, возле которой на хуторе – известные вам вечера, бьет ему челом и признает его власть, еще какие-то местечки и даже, как сказано в моем источнике, сама Котельва. Вы только подумайте, Макушинский, сама Котельва! А? каково? Сама Котельва бьет ему челом и присылает дары. И так он несколько месяцев царствует, между прочим. Затем все кончается. Приближается фронт, причем красный, и царь Иван – что же? Бежит, скрывается, исчезает. А учительница? Учительницу он, кажется, бросил, а может быть, и не бросил. Никто ничего не знает. Следов его нет. Он скрывается, как там сказано, в приворск-ных лесах. И это правильно, такой человек не может просто погибнуть, он должен скрыться, исчезнуть... Чтобы опять появиться когда-нибудь... из мглы приворскных лесов. Вот какие бывают истории, Макушинский, а вы говорите, Томас Манн, Томас Манн... Он, разумеется, любил Томаса Манна не меньше, чем я любил его; перечитывал его постоянно. Последняя наша встреча в этот день произошла возле Центрального телеграфа, где, как всегда, в растоптанном и разъезженном снежном месиве у тротуара стояло, переминаясь, человек десять, пытавшихся поймать такси, и на ступеньках у главного входа не стояли, но именно переминались, курили, поглядывали на прохожих какие-то темные личности, фарцовщики не фарцовщики, филеры не филеры, те загадочные персонажи, которыми вообще пронизана была, как все мы помним, советская жизнь. Откуда появился вдруг грузноватый, в роскошном синем двубортном пальто с попугайно-желтым шарфом, без шапки и в таких при этом блестящих кожаных сапожках, каких в Совдепии вообще никто никогда не видывал, еще молодой человек, я не знал и не знаю. Хе, Макушинский! – сказал он. Вик? – сказал я. Вот быть не может!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.